

СНЕЖИНА АНАСТАСИЯ

**СТРАНА, КОТОРУЮ
МЫ ПОТЕРЯЛИ**



Э.РА

ИП Ракитская Э. Б.
Москва 2013

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4
С 53

Снежина А.
«Страна, которую мы потеряли»

М.: Издательство «Э.РА», 2013; 196 стр.

Книга, написанная о той, ушедшей уже в безвозвратное прошлое, стране, в которой практиковались бескорыстие, добросердечие, служение обществу и печатаемая, как дань уважения к этим наивным старательным опытам, «по-коммунистически» безвозмездно.

ISBN 978590569379-3



9 785905 693793

ISBN 978-5-905693-79-3

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© Все права зарегистрированы, Снежина А. 2013 г.

ЮНОСТЬ

В качестве предисловия

Мы выходим через все, предупредительно распахнутые перед нами двери, сразу заполняя собою весь проход. Вдогонку нам еще несется рокот утихающего стадиона и родившийся где-то в глубине сцены последней случайный электроорганный звук.

Нас встречают на улице выставленные заранее цепочки железных заграждений и построенные в шпалеры наряды постовых. Многотысячной толпой мы обтекаем углы и парапеты, заполняем собою площадь, шутя и беззлобно тычем руками в морды поставленных к нам грудью лошадей конной милиции. Нас делят на три потока, чтобы легче было сесть на автобусы и спуститься с двух тоннелей в метро. Все двери станции работают только на вход, и бесконечным потоком мы спускаемся по эскалаторам вниз и уже там расходился кому на «кольцо», а кому по «радиальной». И в поезде мы еще узнаем друг друга по одинаковому выражению глаз и продолжаем хранить эту связывающую нас общность. Но вот на «Тургеневской» переход, и мы опять делимся, а там дальше еще и еще, с грустью замечая, как нас становится все меньше и меньше, как распадается наше многотысячное многоликое единство, и мы смешиваемся с миллионом посторонних людей и, вновь становясь одинокими, растворяемся в этой сутолоке неприятных сейчас нам лиц...

Бастурма. Как сейчас помню: дешевое кафе и недорогая бастурма. Сбежать с лекций и наказывать себе вина. «Белое-крепкое», «Три семерки» — тогда такие были портвейны. Да что там, хоть одного пива десятка два бутылок. И — бастурма...

Окна все замерзли, на стеклах иней, сквозь него на улице ничего и не разглядеть. А тут мы в тепле. Как это было божеественно!.. От зачетов, от курсовых, от теоретической механики, истории, философии, политической экономии — в мир ощущений, в мир чувств...

– Как я люблю этот первый кайф... — любил повторять всегда Славка...

Как мы любили все друга друга тогда...

Их было четверо. Один даже очень хорошенький, второй слегка уступающий ему внешне, двое же остальных совершенно обыкновенных. Они выходили на сцену, и по залу прокатывался нетерпеливый рев.

Мы их слушали по радио. Мы их не могли видеть. Мы их воспринимали через магнитофонные пленки, пластинки, и — только. Но, тем не менее, мы были полны ими. Мы знали наизусть все их мелодии, помнили все их концерты, понимали все их английские тексты. Мы только нажимали кнопку:

«Ми-шел. Ма бел...»

И плакали. Да я и сейчас плачу. Такая это была музыка! В отличие от всех этих поздних современных течений. Она делала нас равными. Она создавала эпоху...

«Ми-шел...» — и уже неважно, что существуют какие-то суперзвезды и какой-то недостижимый, избранный, предельный звездный мир. Я равен или я равна всем. Я ощущаю себя наравне с самыми талантливыми, несмотря на то, что я просто-напросто никчемный оболтус, не наделенный никакими выдающимися способностями, обыкновенный прыщавый парняга, не Делон и не Бельмондо. Их музыка была сверхдемократична. Она уничтожала в нас все посторонние чувства, препятствия и разграничения, оставляя только любовь.

Это было знамя той эпохи, под которое мы собирались все. Мы хотели, чтобы все было общим, все были равны, и все свободны. И свобода наша тоже должна была быть общей, одна на всех, как общей мы хотели сделать любовь.

На этой волне возникли все молодежные течения тех лет. Студенческие волнения, баррикады, демонстрации, забастовки. Время было такое, что вера в гармонию и высочайший смысл свободы пронизывала каждого, невзирая на страны, континенты и языки, мы были солидарны везде, мы были всюду, и борьба наша начиналась со студенческих

аудиторий. Мы сполна хлебнули репрессий потом, десятилетием позже. Особенно у себя дома. У себя дома потом было тяжелее всего. Но, начав с вызова любой власти, мы остались своей идее верны. И пусть позже во всем мире власти нашли способ расправиться с идеалом, извратить идею, убедить людей в неизбежности их, властей, существования, посеять в душах уныние, сомнение, бессилие и нигилизм. Сумели заставить пасть перед вечной машиной ритуала, заронить в сознание людей ощущение обреченности и отчуждения, похоронив весь их молодежный запал. Смогли даже музыку сменить, отправив ту, объединяющую, в далекое прошлое... Но, что бы там ни думалось теперь, то, прежнее, наше, все-таки было! Были наши упорство и наша святая борьба! И — вера. Хотелось бы думать, что к чему-то подобному зовут новых молодых этот их теперешний хард-рок...

Эпоха кончилась, началось время мрака, отчаяния и тупика. Когда вместе с идеями и идеалами были растоптаны и достоинства людей, да и сами люди. И только иногда теперь мы вспоминаем музыку. Музыка — это единственное, что осталось, сохранилось оттуда — и снова плачем, сраженные, отчужденные, погрязшие в мелочности теперешних своих дел и забот. Плачем от неосуществленности своих надежд, от утраты идей и веры. И от вечной и неизменной силы настоящего искусства.

«*Yesterday...*» — и снова вся юность перед глазами, с ее страстностью и преизбытком любви. И чистотой побуждений.

«*Им'с э хард дэй'с найт...*» — и снова я верю, и снова мне легко...

Игорь сидел на подоконнике и громко пел что-то из Высоцкого. Никто его не слушал, да он и пел-то для себя, как и я для себя скрипел петлями двери, навалившись спиной на филенку. Сашка читал газету, Борис, бросив куртку в угол, сидел около пианино у стены и, неподвижно глядя перед собой, перебирал клавиши пальцами...

Музыка делала нас равными. Ты нажимаешь только кнопку, и все: ты — как все. Музыка пьянит тебя, все твои

дела начинают казаться несущественными, становится невозможным усидеть на месте и — ты срываешься и летишь к друзьям, чтобы говорить с ними о любви, о книгах, об охоте, о путешествиях, о предстоящем. Мы выкуривали сигарету за сигаретой и рассуждали о будущих годах, о воздушных полетах, о поездках в горы, о новых открытиях и новой жизни...

Любви хотят все. Хотят любить и быть любимыми. Хотят любви молодые и старики, дети, глупые, умные, мудрецы, уроды, хотят любви еще не знающие чего, собственно, хотят, и уже подозревающие за этим понятием что-то, хотят умудренные богатым опытом «философы», хотят любви люди, так и не понявшие ее смысла, хотят циники, распивавшие в ней все по пунктам, уставшие от нее ловеласы, иронизирующие на ее счет, презирающие ее утомленные распутники, хотят даже те, кто говорит «о, как опостылела мне эта вторая половина человечества!». Хотят любить преступники, пропойцы, брюзги, скряги, хулиганы, гомосексуалисты, импотенты, а в минуты одиночества и грусти хотят любви даже те, которые любить не могут.

Ленька Просеков любить не мог. Перед красивыми девушками он робел, некрасивые в нем вызывали нечто вроде братской солидарности, а лишь только симпатичные не устраивали его из-за несоответствия их его высокому внутреннему идеалу. И поэтому он был обречен на одиночество навечно...

Но зато Ленька любил охоту...

Сбить большого, широкогрудого косача влет, чтобы он замертво, тряпкой упал на землю, оборвать полет со свистом проносящейся мимо утки и видеть, как она кубарем падает и шлепается об воду. Достать выстрелом меж кустов в длинном прыжке зайца, чтобы тот, обвиснув еще в воздухе, упал уже мертвым, чувствовать ружье как часть себя, отдача в плечо и тяжесть цевья на ладони, видеть цель меж стволов над планкой и слышать резкий звук выстрела и физически ощущать направление полета дроби и удар в крылья и грудь, и сразу затем — второй выстрел, и опять щелчки дробинок о перья и выбитый из тела и кружащийся в воздухе пух...

Юность

– Здесь.

– Там люди...

– Не обращай на них внимания.

– Ну, как же мы тут будем? У стены, на асфальте...

– Я повернусь к тебе попкой. Я так уже делала позавчера... Хотя, нет, я хочу тебя целовать...

Вас было много у меня в это лето. Я не пользуюсь никакими средствами. Я рожу ребенка. Вы потом приходите посмотреть, на кого он из вас будет похож...

У меня даже ноздри раздулись от их запаха. Как прежде. От запаха пота их горячих, совсем еще подростковых тел.

Угар музыки, танцующие перед своими креслами фигуры, руки, что есть силы крутящие над головами шарфы, их исступление и истерический визг.

И запах, жаркий, еще не устоявшийся, по-девичьи резкий, потный запах, пополам с дешевыми и плохо подобранными духами. Один этот запах, когда, как прежде, снова и снова готов был целовать им подмышки и, как тогда и бывало, снова с головой окунаться в жар и омут молодости, тела и любви...

Часть первая

ДНЕВНИК МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА НЕВОЕННЫХ ГОДОВ

Дома

Как нарочно, с утра у меня ничего не клеилось. Началось с того, что к тому времени, как я проснулся, кто-то позаботился отключить воду и, когда я разделся и открыл в ванной кран, он только кашлянул мне на руку и, хрипя и булькая остатками воды, выпустил из себя воздух. Я постоял, раздетый, перед раковиной, глядя на смеситель, до тех пор, пока до меня не дошло, что уже можно начать одеваться, а кран закрыть; снова натянул майку и рубашку, посмотрел в зеркало и, представив себе, как иду к ребятам с этим помятым и заспанным лицом, обреченно и безропотно принял возникшую у меня мысль, что настроение на весь день у меня уже испорчено.

Потом у меня сгорела колбаса. Она была такая пышная, румяная сверху... и такая черная и обуглившаяся внизу. Еще раз жарить у меня не хватило терпения, и я съел только несколько ломтиков сыра. Масло, не поставленное в холодильник, пожелтело, расплылось в масленке и стало талым и теплым. Другого масла в холодильнике не нашлось, да и, признаться, желания есть у меня не обнаружилось тоже, и я ушел из кухни, демонстративно не убрав со стола и хлопнув за собой дверью, но и это ничего не меняло и впечатления произвести ни на кого не могло, потому что уже, наверное, прошло часа два, как все ушли из дома.

— Хватит дурачиться! — сказал я себе, аккуратно прикрыв за собой отошедшую от удара дверь, и прислушался, как во мне гулко протестом отозвалось мое самолюбие.

«Совсем психом стал, — подумал я, пробуя взять себя в руки. — Дело надо делать, и без глупостей...»

И я решил делать дело. Несмотря на то, что мое самолюбие продолжало протестовать, сел за стол и решил остаться дома, найти себе пусть и маловажное, но занятие,

и не слоняться бессмысленно по городу, и не тащиться раньше времени к ребятам в институт, и своим появлением не вынуждать их снова, в который раз, пропускать лекции, чтобы составить мне компанию.

Дело у меня нашлось. Для начала — книги. Начатые и недочитанные, заложенные обрывками бумаг и обертками от сигарет, они лежали на полке и на столе беспорядочными стопками. Но этого для меня оказалось много. Так много, что мне расхотелось до книг даже дотрагиваться.

«За два дня так или иначе не успею. Да и какое это уже имеет значение!» — подумал я.

«Никакого это не имеет значения», — охотно подтвердило мне мое самолюбие, и от того, что действительно — значения это уже не имело никакого, у меня даже в груди заныло и захотелось курить.

«Два дня всего и осталось», — подумал я, и внезапно даже холодок пробежал по спине. Вдруг как рана открылась. Все утро я, в общем-то, предчувствовал, что так и будет. Но старался об этом не думать, не замечать, не обострять внимание, думал забыть, отвлечься как-нибудь, избежать... И вот — как рана открылась. Опять, как вчера вечером, я ощутил в себе это нудное тоскливое беспокойство. Будто я где-то что-то оставил. Что-то где-то забыл. Но неясно — что и где...

С полчаса, наверно, я сидел в кресле и пытался читать газету, потом ходил по квартире, кормил рыбок в аквариуме, листал у матери в комнате журнал «Здоровье», слушал радио и просто сидел за столом, гоняя по полированной столешнице спичечный коробок. В двенадцать не выдержал и, не зная еще, куда направляюсь, потому что занятия у ребят все равно не кончились, оделся и вышел из дома.

На улице было шумно. Напротив, перед универмагом, толпилось много народа. Акустика, установленная над входом, женским голосом предлагала посетителям какие-то шерстяные ткани и вельвет. Я потолкался у прилавков летних палаток, посмотрел на ручки и карандаши и, когда время уже близилось к часу, вспомнил про оркестр. Это меня

обрадовало. Я выбрался из толпы и заспешил. Пройти нужно было два квартала, и я прошагал их в три минуты. Вбежал в здание Энергопроекта и, пройдя мимо вахтера, поднялся на четвертый этаж в актовЫй зал.

На репетицию я все же опоздал. Там уже играли. У Олега была новая бас-гитара, и вообще в оркестре появилась еще и труба. Парня, который играл на ней, я не знал. Он был в очках с очень сильными стеклами, и на пиджаке у него не хватало одной пуговицы.

Я прошел в середину пустого зала и сел верхом на стул. Олег с Женькой подмигнули мне, а Витька помахал барабанной палочкой. Я улыбнулся в ответ и кивнул головой.

Ребята сыграли «Следы на песке», потом еще что-то бигбитовское, потом начали какой-то блюз. Блюз мне был очень знаком, к тому же я чувствовал, что с ним у меня связано что-то радостное и навсегда потерянное.

Мне сделалось грустно, и я стал вспоминать это.

Когда блюз кончился, я так ничего и не вспомнил. Парень в очках положил трубу в футляр и, распрощавшись, ушел.

Я поднялся на сцену и пожал всем руки.

– Кто этот новенький? — спросил я.

– В плановом отделе работает, — ответил Олег, — мы с ним уже в «Парусе» играли.

– По-моему, хорошо у него получается.

– Ничего, умеет.

– А как у тебя? — спросил Женька. — Когда теперь?

– Через два дня, — ответил я.

– Торопишься ты...

– Не от меня же зависит.

– Вообще-то конечно... Заходи сегодня после работы. С тебя ведь причитается.

– Ага, — ответил я. Совсем не хотелось, чтобы с меня что-то причиталось.

Женька посмотрел на меня внимательно и улыбнулся:

– Я и забыл: ты ведь в этом деле внезапность любишь, самотек... А то пришел бы...

– Постараюсь, — неопределенно ответил я.

— Ну, все! У нас обед кончился, — сказал Витька, — собираемся!

Мы вместе вышли из актового зала, ребята пошли наверх, по отделам, а я спустился к универмагу. Народа здесь стало меньше: кончался обеденный перерыв, и люди возвращались на работу.

Я прошелся по площади, заглянул в книжный магазин, потом послушал в радиотоварах новые пластинки, и все же, когда пришел в институт, до звонка оставалось еще полчаса. Я сидел на подоконнике у расписания и курил. В вестибюле было прохладно и тихо. За все время до звонка в нем появился лишь первокурсник Ленька Ерохно. Он вразвалочку подошел ко мне и попросил закурить.

— Опять сбежал? — спросил я его.

— В столовую ходил. После третьей пары ведь не пробьешься. — Ленька размял пальцами полученную сигарету и сказал: — Веревкин, кстати, на семинаре сегодня тебя упоминал. В пример ставил. Ты оказался сознательнее всех. Понял, что стыдно зря государственные средства тратить и у преподавателей впустую время отнимать. Сказал, что ты прямой и честный юноша... Порадовал, в общем, его. Он так растрогался, что даже нам с Генкой посоветовал.

— Вы, понятно, отказались.

— Естественно. Дай ему волю, он бы всех поразогнал. — Ленька прикурил от моей зажигалки и выпрямился. — Дурак он, этот Веревкин.

Я был согласен с Ленькой и поэтому промолчал.

— Ну, а ты? На войну-то скоро? — Он посмотрел на мою голову и улыбнулся. — Вроде, постригся уже...

— Заставили. Три сантиметра.

— И когда?

— Послезавтра.

— Вот как! Быстро тебя... — Ленька еще посмотрел на меня, потом повернулся лицом к окну и стал пускать в стекло кольца. — Я тоже скоро, чувствую, загремлю...

— Куда? — спросил я.

Ленька покосился на меня и отвернулся снова.

— «Куда»... В армию, козе понятно.

Он, видимо, поставил себя на мое место, и ему стало себя жалко.

– Я эту сессию завалю.

– Завалишь, как пить дать.

– Нет, правда. Я ничего не знаю.

– Разумеется, еще бы!

– Не веришь?

– Как можно!.. В деканат-то вызывали?

– Нет еще.

– Лабораторные делаешь?

– Вроде бы.

– И что ты тогда ноешь? Сдашь ты сессию, не стони. Я в прошлом году весной даже две четверки имел. Да и было бы что сдавать...

Оглушительно зазвенел над нами звонок. Я прикрыл уши ладонями. Когда снова стало тихо, Ленька сказал:

– Тебе легче было, ты ведь на ПГСе.

– А-а! Ну, конечно... Ладно, иди гуляй, студент, — сказал я и пошел навстречу ребятам. Они заметили меня еще издалека, причем Андрей, как обычно, заорал «О, Володька!», а, подойдя, полез обниматься.

У него так всегда: сначала он улыбается, орет, потом лезет обниматься. Я отталкиваю его, но самому радостно и смешно, что он так меня любит и что сам такой дурак, и в это время мне становится с ним вдвойне хорошо и весело.

«Когда-то мы теперь с ним свидимся, — думаю я, — и останется ли он таким через два года?..» Но сказал я другое:

– Надо же быть таким идиотом! И когда ты бросишь наконец эту свою дурацкую привычку!.. — Я попытался освободиться, но Андрей уже облапил мою шею, и вырваться из его объятий не было никакой возможности.

– Родной ты мой, — сказал он, — я о тебе сегодня весь день думал.

– Мы все думали, — поправил Гошка.

– Верно, все. А Танька на лекции даже слезу пустила. — Андрей помолчал немного, потом, отстранившись, посмотрел на меня и сказал: — Поехали с нами на дачу. — Потом еще подумал и добавил: — Девчонки будут.

– Какие девчонки?

– Танька с подружками.

– Да?.. Ну, отвяжись ты, в конце-то концов! — я отпихнул Андрея и поправил воротничок.

Я, конечно, был согласен ехать даже без девчонок. Дачей мне напомнили про лес, про реку, про рыбную ловлю, и я уже представил, как мы будем лежать с ребятами вокруг костра, болтать и пить чай или даже водку. Но на всякий случай я спросил:

– Я этих подружек знаю?

– Нет, из нас только один Гошка их видел, — сказал Андрей. — Гоша, объясни человеку.

– Одна — Зоя, вторая — Альбина, — ответил Гошка.

– Это все? — спросил я.

– Ну, как сказать... Зоя ничего...

– Если Зоя ничего, то Альбина, наверное, страшнее атомной войны?..

– Ох, господи, если уж мы Таньку всюду с собой таскаем...

– А что — Танька? — перебил я его. — О ней разговор особый.

– Что ты кипятишься, тебе никто же никого не навязывает...

– Вообще-то да, — спохватился я. Последнее время мне часто стало казаться, что люди в эти мои предотъездные дни обязаны больше заботиться обо мне. Я понимал, что это глупо, но этого требовало мое самолюбие. Так вышло и на этот раз. Я вдруг решил, что девчонок брали ради меня.

Нужно было как-то выходить из положения, и я рассмеялся:

– Ладно, оскорбился уж! Когда едем-то?

– Прямо сейчас, — сказал Андрей. — И давайте-ка поторопимся.

Из магазина мы уже бежали. Мы опоздали на электричку и решили не брать билетов. Но их взяла Танька, она ждала нас на перроне вместе с двумя подружками.

– Альбина и Зоя, — представились они.

– Тронуты, — сказал Андрей, и мы поклонились.

– Мы тоже, — улыгнулись девушки. Танька сразу что-то затараторила, хватая всех по очереди за рукава. В частности, поворчала на нас за опоздание, повздыхала о завтрашной лабораторной работе, посмеялась над вчерашним выступлением Райкина по телевизору, спросила, есть ли у нас консервный нож, а то она перевернула у себя весь дом и так и не нашла. Наконец Андрей оборвал ее «Умолкни!». Танька обиделась, и с тем мы и сели в вагон.

...Водку мы пили поочередно из маленького пластмассового стаканчика, потому что больше посуды на пустой и еще не обжитой после зимы даче не нашлось. Девчонки от водки отказались и пили только вино. Когда стаканчик перешел в руки Андрея, он чокнулся с бутылкой и выпил за мой отъезд.

– А я ничего не знаю. За какой отъезд? — спросила Зоя, и Танька так и подпрыгнула на табуретке.

– Вот, здрасте! — сказала она. — Я же тебе говорила. В армию его забирают. — И, уже повернувшись лицом ко мне: – Вот ведь на втором курсе уже был, и заканчивал уже, а теперь — что?.. Себя он, видите ли, не нашел, смысла не видит, цели у него нет... Два года решил терять...

– Все? — спросил я.

– Нет. Призвания у него, оказывается, не обнаружилось...

– А у вас обнаружилось?

– Спрашиваешь! — сказал Андрей, и я понял, что веду себя глупо. Когда решаешь что-то для себя, нельзя того же требовать и от других.

– Шутка это, — сказал я.

– Мы так и поняли, — Андрей улынулся и обнял меня за плечи. — Ты знаешь, чего я больше всего боюсь? Там наголо постригут. А у меня затылок квадратный, девушки любить не станут... они и так-то относятся к солдатам неуважительно.

– Вот уж неправда!.. Ты ничего не знаешь, — начала, было, Танька, но Андрей не дал ей договорить.

– Пардон, — сказал он, — это я уже некстати. — И, вновь перебив пытающуюся что-то сказать Таньку и переврав стихи: — Здравствуй, добрая старушка, выпьем с горя, где же кружка, — снова взялся за бутылку.

Мы выпили снова.

День был майский, теплый, солнечный и, когда потом мы вышли на улицу, во мне были и радость, и грусть, и еще какое-то сложное чувство, с каким, будь я уже не здесь, вспоминал бы, наверное, эту дачу, ребят, девчонок, широко разлившуюся реку, мутную, даже коричневую у берега массу воды, затопленные тальниковые веточки, подрагивающие от течения, будто удилица донок, когда их раскачивает попавшаяся на крючок рыба, еще влажную слежавшуюся прошлогоднюю хвою, кору сосен и липкую, тягучую смолу. И мне действительно казалось, что я уже уехал или, если даже еще не уехал, то уж, по крайней мере, отлично понимаю, что это уже все не мое, что все это временно, на сутки, на день или того меньше...

Мы катались на обласке. Я и Зоя. К нам пытался, было, пристроиться Андрей, но обласок угрожающе просел, и Андрей поспешно выбрался на берег.

— Возьмите хоть черпачок третьим, — сказал он и бросил нам консервную банку.

Обласок был треснутый, и банка оказалась нам как раз кстати. Пока я греб против течения к заливу, Зоя вычерпывала воду и испуганно вздрагивала и хваталась за мое колено, лишь стоило обласку накрениться вбок. Успокоилась она, только когда мы заплыли за косу. Вода в заливе была спокойная и гладкая. Я старался не плескаться веслом, медленно, бесшумно опускал его в воду и плавно проводил назад. От носа обласка разбегались маленькие волны, а за кормой оставались рябь и пузырьки воздуха.

У затопленного тростника мы спугнули парочку уток. Утки сделали круг над заливом и полетели в сторону большой воды. Я проводил их взглядом, пока они не превратились в две маленькие точки и пока у меня не начало резать в глазах.

Уже вечерело и становилось холодно. Зоя начала мерзнуть, и я отдал ей свой пиджак.

— Спасибо, — сказала она, — а тебе не холодно?

— Я же гребу.

Она посмотрела на меня долгим взглядом. Мы помолчали, потом Зоя сказала:

— Смешно на вас с Андреем смотреть. Он так тебя любит. Такие вы с ним вместе забавные.

Я улыбнулся.

— Да, мы с Андреем друг в друга влюблены. Знаешь, мы ведь и в школе учились вместе... — я, было, хотел рассказать о том, как мы и на самом деле с ним вместе учились в школе, хотел рассказать, какой мне недавно приснился характерный сон, где моя призрачная, долгожданная, любимая девушка, мой идеал, который я наконец нашел, убежала от меня по бесконечному лабиринту каких-то комнат, а я, как водится, ее догонял, и вот, когда догнал, — вот она, моя надежда, любовь, мечта, — вдруг как кадрик в кино сменили: та же комната, то же окружение, то же кресло, поза, но развалился в нем Андрей. И улыбается. «Что, — говорит, — подмазаться ко мне хочешь? А что надо-то?..» — все это я хотел Зое рассказать, но потом мне как-то резко привиделось все это в ином свете, показалось бессмысленным сейчас что-либо рассказывать вообще, делать; подумалось, что все это ни к чему, не нужно, что вот и это наше с Зоей уединение, и все, к чему это ведет, и Зоин долгий взгляд, и то, что, наверное, можно было бы её поцеловать — все это сейчас для меня временно и не стоит. Не стоит сейчас что-либо у кого-либо одалживать и не стоит никому ничего давать в долг. И опять, как утром, мною овладело это нудное томительное беспокойство. И опять, как утром, я подумал о необъяснимости его. Ведь я знал, отчего оно должно происходить, знал, что мне предстоит, тут для меня не было тайны, но объяснение беспокойства этим не исчерпываюсь, оно таило в себе еще какую-то неизвестность, пугающую глубину.

Я посмотрел на Зою и подумал, что насчет поцеловаться — это в лодке еще и крайне неловко, можно перевернуться, нужно выходить на берег, месить ногами сырую глину, а это мне было уже лень.

Поэтому я отвел глаза, помолчал и повернул обласок в обратную сторону.

Потом мы с ребятами до самой темноты сидели возле костра. Я разлегся на земле и положил голову Зое на колени. Танька носилась вокруг и болтала без умолку. В конце концов, она нам надоела, да и уже становилось поздно. Я бы с удовольствием остался на даче и на ночь, но ребятам нужно было утром в институт, и на десятичасовой электричке мы уехали в город.

Всю дорогу я разговаривал с ребятами, Андрей опять лез обниматься, жалостливо плакал у меня на плече, давал ценные указания, как вести себя в армии, много шутил, и всем было весело. Зоя сидела у окна и смотрела на меня беспрестанно. Это выглядело несколько навязчиво. За одну остановку до центра она собралась выходить.

— Она далеко живет? — тихо спросил я Таньку.

По правде говоря, я чувствовал, что Зою мне нужно проводить. Но мне было жалко расставаться с ребятами.

— Близо, — ответила Танька и неожиданно для меня улыбнулась такой ядовитой улыбкой, какой я раньше у нее никогда не замечал.

— Ребята! — сказал я громко. — Давайте сойдем здесь. Дойдем до центра пешком.

Ребята меня не поняли, тоже заулыбались, посмотрели на часы, сразу нашли себе какие-то занятия и отказались наотрез.

— Да бросьте вы!.. — начал, было, я, но Зоя меня остановила.

— Не нужно. Мне тут рядом... До свидания! — И, не глядя на меня, она вышла из вагона.

— Ну, вот, обидели девушку! — сказал я.

— Да... А ты толком не мог нам разъяснить? — стал оправдываться Гошка.

— Конечно, вам все нужно разжевывать!

— Не расстраивайтесь, — сказала Альбина, — ей на самом деле тут близко.

— И времени еще немного, не беспокойтесь, — подержала ее Танька.

«Занятно, — подумалось мне, — ловко они ее». Мы вышли в центре, проводили Таньку и Альбину, погуляли по проспекту и расстались на автобусной остановке.

Домой я пришел в двенадцатом часу. Там было все домашнему. Мать ходила с заплаканными глазами. Отец сторонился меня и сидел в комнате, один. Только младший брат спал спокойно и, наверное, видел свои пятиклассные сны.

Я разделся и лег в постель. Но долго ворочался. Родители своим видом опять напомнили мне о моей тревоге, и еще мне было стыдно, что мы бросили Зою одну. И было не только стыдно, я уже жалел, что не проводил ее сам.

Проснулся я поздно. Было безоблачно, светило солнце, и день предстоял быть хорошим.

Я явился в военкомат и узнал время завтрашнего отправления. Потом ходил на длинный индийский фильм, сильно вспотел и вышел из кинотеатра в совершенно мокрой рубашке. Времени было час, занятия в институте еще не кончились, к тому же после третьей пары ребята сдавали задание по сопромату, и что мне было делать, я не знал.

Я опять послушал в радиотоварах пластинки, посмотрел на площади афиши новых фильмов и зашел выпить томатного сока в «Ветерок».

У входа за столиком сидел Молох. Он жевал бутерброд с ветчиной и одновременно читал «Юность», засыпая страницы хлебными крошками. Рядом со стулом стоял его потрепанный портфель.

Я обрадовался встрече. Последнее время прогульщики были для меня как никогда кстати, и как никогда приятны и близки.

Молох встретил меня хмуро, сразу подсунул «Юность», начал громить какой-то рассказ, ругал его, пока не доел бутерброд, и кончил тем, что «Юность» уже который год печатает один бред сивой кобылы, и пора ее закрывать. Я постарался вспомнить кое-что хорошее, но Молох возражений не принял, махнул рукой и сказал:

- Пойдем ко мне. Посидим. Предки мои в саду.
- Мне все равно, — согласился я.
- У тебя сигареты есть?
- Есть немного.
- Надо еще купить... Чтобы не бегать потом. Молох положил «Юность» в портфель, щелкнул замком и пошел

к стойке. Вернувшись, он спросил еще раз: — Ну, идем?.. Андрей обещал к вечеру подойти... Лем у меня есть, могу дать денька на два.

— На два... — сказал я. — Мне завтра в десять ноль-ноль уже быть с ложкой и кружкой.

— Завтра? Нормально! Наконец-то они до тебя добрались.

Я поднялся из-за стола, и мы вышли на улицу. Молох, щурясь, посмотрел на солнце и вздохнул.

— Надоело все! — сказал он. — Осточертело! Впору завидовать тебе.

Он помолчал.

— Ведь ничего у тебя теперь не горит, ничего не заботит, не тревожит, не ноет...

«Не тревожит, не ноет...» — подумал я.

— Ни зачеты тебе не сдавать, ни сессию, и декан тебе не серый волк... Свобода!

— Свобода, — сказал я. — Это точно. Молох взглянул на меня и улыбнулся.

— Ладно, извини. Прими за черный юмор.

А когда мы подошли к его дому, он улыбнулся еще раз:

— У тебя железная сила воли, Боб. Я бы так не сумел.

Он мне льстил. Но мне было приятно. Я даже на секунду почувствовал себя сильным.

— Что ты! — засмеялся я. — Глупости. Это же элементарно: забираешь документы — и...

—...В армию. Нет, это не по мне. Таковую свободу... В гробу я ее видал.

Мы поднялись на четвертый этаж, и Молох открыл ключом дверь.

Я полистал новые журналы, посмотрел «Экран», закурил и, взяв Лема, растянулся на диване. Читал я до вечера. А в шестом часу пришел Андрей.

Мы поговорили о Леме, о кино, о моем завтрашнем отъезде. Потом Андрей спросил, есть ли у нас деньги. Денег не было. И в лучшем случае — мы могли пойти в домовую кухню пить пиво на разлив. Другие варианты отпадали сами собой.

Стоя вокруг пустого столика, мы выпили по несколько полулитровых банок. Кухня, по сути дела, уже не работала,

повара разошлись, и лишь женщина у бочек торговала пивом на собственном энтузиазме. Есть было нечего. Андрей сходил за перегородку, договорился с уже пришедшим ночным сторожем, щупленьким мужичишкой, который принес нам немного вываренного мяса и три ломтика хлеба на банку пива в обмен. Нам было смешно, и мы смеялись, пока ели это мясо и пили пиво, и острили насчет зарытых в землю коммерческих задатков Андрея. Вышли из кухни мы самыми последними. Нас ласково и обходительно выставил ночной сторож.

Потом мы долго бродили по городу. Я даже зачем-то залез в парке на дерево и, пользуясь отсутствием милиции, кричал что-то оттуда, празднуя в последний раз свою свободу.

Домой я возвращался один. Троллейбусы уже не ходили, и мне пришлось пройти с десяток остановок. У своего универсама я задержался. Здесь было тихо и пустынно, лишь ветерок гонял по тротуару обертку от эскимо. На витрине в свете неона стоял чуть прикрытый ширмой раздетый девушка-манекен. У девушки были острые высокие груди и узкие бедра.

Придя домой, я осторожно прикрыл дверь и плавно, без щелчка, спустил ригель замка. Но это оказалось излишним, мать все равно не спала.

Я разозлился.

– Что так поздно? — спросила она.

– Да отстань ты! — проворчал я тихо, почти про себя.

– Что ты сказал?

– Почему не спишь?

– Тебя жду.

– Ни к чему, — сказал я и прошел в свою комнату. Мы друг другу простили. Это был последний день.

«Сегодня мне в армию», — подумал я, просыпаясь. И это мне ничего не сказало. Будто уезжал не я, будто вообще никто не уезжал. Я даже удивился себе.

Я почистил зубы, умылся, позавтракал. Глядя в окно, выкурил сигарету.

Убрал постель, оделся и сложил приготовленные вещи в чемодан. Пожал руку брату, попрощался с отцом, поцеловал

мать, и в то время, когда у нее уже задергался подбородок, еще раз сказал «До свидания!» и побежал вниз по лестнице.

Провожать себя я позвал одного только Андрея.

До вокзала нас, призывников, вели, построив в колонну. Мы шли по дороге. Провожающие сбоку, по тротуару. Андрей часто останавливался и, встав на носки, отыскивал меня глазами в толпе, махал рукой и улыбался. Потом мы снова теряли друг друга из вида.

На вокзале сошлись вместе. Мы стояли и курили, пока не объявили отправление.

– Ну, родной... — сказал Андрей.

И на этот раз он не бросился мне на шею.

Все заспешили в вагон. Я тоже поднял чемодан, подержал его в руке и поставил на прежнее место. Опять поднял и опять поставил, вернее, уже даже бросил со злостью, а потом, не зная, как поступить, взглянул на Андрея.

И тут-то меня и настигла эта мысль... Даже не мысль... Я вдруг как-то упрямо уверовал, что с Андреем прощаюсь навсегда. И я понял, что этого-то все время и боялся, что предчувствие этого меня и мучило все последние дни.

«Но мы еще встретимся! — убеждал я себя. — Это еще не конец». И в то же время не соглашался, мысль о потере назойливо лезла на передний план. Мне стало до слез обидно, что все так глупо получается. Я уже хотел на все наплевать и даже подумал, не остаться ли дома, но подошел лейтенант и начал торопить нас... Я растерялся...

– Два года — это немного, — сказал Андрей. — Пролетят — не заметишь... А вернешься когда — мы тебе такую встречу устроим! С оркестром. Цветы. И самые красивые девушки города.

– И в лучшем случае — это мы пойдем пить пиво в домовую кухню, — попытался улыбнуться я.

– Нет, теперь специально копилку заведем. Да и к тому времени я начну стипендию получать.

– Ладно! Не смехи... «Стипендию!» — я толкнул Андрея кулаком в грудь. — Смотри не женись тут без меня.

– Постараюсь... Забыл совсем — Танька привет тебе передавала.

- Спасибо. Молодец она все-таки у нас, верно?
- Верно.
- Поцелуй ее за меня.
- Ладно. Она еще просила, чтобы ты ей писал.
- Обязательно.

Эшелон уже тронулся. Андрей притянул меня к себе. Мы обнялись и поцеловались. Мои губы скользнули по его подбородку, и я прижался носом к его щеке.

Лейтенант закричал на нас. Андрей похлопал меня ладонью по спине и оттолкнул.

Я побежал к своему вагону и уже не оглядывался, потому что у меня, как у мальчишки, потекли слезы. И, только когда повис на поручне, посмотрел назад и, найдя на перроне Андрея, помахал ему рукой...

* * *

А, в общем-то, все это во многом сентиментальщина, молодому человеку поколения невоенных годов мало свойственная...

Первый взвод — на уголь.

Второй — уборка территории.

Рабочие по кухне — от третьего взвода...

Недурное начало для «небольшого рассказа»?.. Или вместо эпиграфа?..

Две выдержки из армейского письма

Часть вторая

ДНЕВНИК СОЛДАТА В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Курс молодого бойца

Две строчки я помню из той песни:

«Локон коснулся щеки...» —

И —

«Расцвел *бу т он* любви...»

Больше я почему-то ничего не запомнил, хотя в нашем купе горланили эту песню беспрерывно.

Я лежал на верхней полке, смотрел в потолок или в окно на проносящиеся мимо поля и думал о том, что я оставлю дома. Девушки у меня не было, как-то совпало, что в это время не было, и все. Это, наверное, было хорошо. Были родители, мать — я вспомнил, как она все последнее утро суетилась, мельтешила, а, когда я попрощался, сникла и заплакала...

Были еще друзья...

В вагоне, полностью заполненном нашим братом, всеми владело какое-то разгульное настроение. Где-то шибались рубли, по дешевке продавались часы и последние вещи, где-то покупали вино, пили, пели, высунувшись всем купе в окно, голова к голове, орали девушкам, мимо которых мы проезжали, мимо которых мы ехали, а они оставались. Кричали, махали руками.

«Красавица, заходи, когда деньги будут!.. Обратите внимание, какая ножка!..» Или: «Корефаны, смотрите: не идет, а пишет, одной ногой пишет, другой зачеркивает...»

Кто улыбается... Да вообще-то, глядя на нас, никто не может сдержать улыбку, все понимают, что это и кто. За редким исключением какая-нибудь молодая, интеллигентного вида фыркнет и отвернется, но эта просто не знает, что солдатская служба — это «почетная обязанность каждого гражданина Советского Союза».

Зато на станциях, на вокзале, при остановке поезда, когда мы толпой, каждая проходит мимо нас как сквозь строй — тут, слушая, даже стошнить может. Но вот снова по вагонам, опять едем — и опять жалкие, несчастные, и все машут нам руками и улыбаются вслед... А, когда гитару кто возьмет, то затихнут, замолкнут, рассядутся по своим скамейкам и купе...

...С вокзала шли под оркестр, шли колонной по три, в телогрейках, разномастные, кто в сапогах, кто в ботинках, кто плохо, кто хорошо одет, с мешками на плечах. Шли не в ногу, как попало, и смотрели по сторонам, крутили головами, толкались, наступали на ноги, галдели, шумели. Шуметь нам было еще можно...

Часть окружала высокая каменная стена. Открылись железные ворота, и казарма поглотила нас.

Приволжье. Школа младших специалистов Первый подъем

Когда я проснулся, то сначала подумал, что неплохо бы поспать еще. Но, когда вскочил, осталась одна-единственная мысль: «Успеть!» — и я забыл про сон.

Построения сначала даже нравятся, какое-то мальчишеское желание выполнить команду хорошо. Нравится исполнение, четко, быстро и в срок. Чтобы был самому себе приятен...

Подстриженные под ноль головы не очень расстраивают: первые два месяца в армии некого стесняться, девушек нет. Увольнительных — тоже нет. Мы смотрим друг на друга — и не узнаем, смотрим на себя в зеркало — и хохочем. А когда смотрят на нас другие, видят, что мы все одинаковые.

Сержанты

У командира отделения чистый лоб и юное лицо подростка. Когда он хмурился, лоб перерезала одна вертикальная морщина. Когда кричал, голос срывался на фальцет.

– Спать хочется? Встать! Сесть! Встать! Сесть! Еще хочется? Встать! Сесть! Встать! Сесть!.. За отказ исполнения команды один наряд вне очереди...

– Что за движение в строю? Курсант Кохани, почему руки не по швам? Комар укусил? Два наряда вне очереди... Взвод, сорок пять секунд — отбой!.. Встать, заправить обмундирование...

Встаем, укладываем на тумбочки сначала пилотку, потом ремень, гимнастерку, на самом верху — брюки. Портянки — вокруг голенищ сапог, сапоги носками под табуретку и в сторону от прохода. После заправки — взвод в коечки! Улеглись... Взвод, сорок пять секунд — подъем!.. Осталось тридцать секунд, двадцать секунд, выходи строиться. Бежим, на ходу надевая ремень и застегивая пуговицы. Равняйся, смирно! Вольно. Оправиться, застегнуть пуговицы. Смирно! Взвод, слушай мою команду, сорок пять секунд — отбой!.. Двадцать секунд, тридцать секунд... Взвод, в коечки. Встать, заправить обмундирование...

А когда что-нибудь не получается быстро, и сержант заставляет всех повторять бесчисленное количество раз, вы начинаете его ненавидеть.

– Курсант Левитов, возьмите ногу! — тут, как назло, от беспокойства опять собьешься. — Курсант Левитов, левой, левой... Курсант Левитов, лично для вас: р-рязь, р-рязь...

По пути в столовую проходишь рощу тополей, на тополях свили гнезда грачи. Много грачей, они летают над взводами и кричат.

– Взвод, левое плечо вперед! По отделениям в столовую — бегом марш!

А все свое недовольство мы выражали в постелях после отбоя громким кашлем...

Нет, право, не сочтешь армию украшением государства. Сколько миллиардов человеко-часов тратится в мире на такую бессмыслицу, как плац, на муштру, на шагистику, на такую глупость, как армия...

...Дневник я здесь завел, собственно, для вас. Люди правы, в сущности, когда говорят, что мы ничего не знаем о жизни здесь. Но в то же время завел и как средство, без которого мне бы было плохо. А так я убедил себя, что это я как бы составляю отчет о своем здесь пребывании. И, хотя мне все тут не нравится, пусть будет так, как будто это я ваш представитель там, где вы никогда не побываете. Мне станет все же веселее, я утешу себя выдуманной мыслью, что я здесь как бы в командировке от вас...

– Встать, курсант Иванов! У вас нога болит? Постойте — может, пройдет...

В слово «курсант» и в местоимение «вы» они вкладывают все свое к нам презрение.

– Я их даже не различаю, они все одинаковые, никакой индивидуальности...

У младшего сержанта лицо строгого мальчика. Когда он отдает команду, щеки у него надуваются, и на гладком чистом лбу появляется вертикальная морщина. А когда он за что-нибудь отчитывает нас, то все время повторяет одни и те же слова: «Вам что, плохо? Что с вами? Успокойтесь...» И я вдруг почувствовал, что он мне не ненавистен, он мне жалок. Он осознает свою слабость, неопытность, неумение и поэтому срывается и злится на себя и орет на нас.

– Что? Что с вами?! — во весь голос накинулся сержант на курсанта. Потом, поняв, что сделал глупость, лишнее, раскричавшись таким невероятным образом по столь, в общем-то, незначительному поводу, отвел глаза от курсанта — посмотреть, как отреагировали на его срыв другие. Но, опомнившись и разозлившись на то, что этим взглядом выдал себя окончательно, не нашел в досаде ничего другого, как еще раз проорать: — Что с вами? Вам плохо?..

Мы так привыкли к команде «вольно, разойдись», после которой надо моментально исчезать с места строя, что бросаемся в стороны раньше конца команды.

– Взвод, воль... — несколько человек наклонились вперед и, не удержавшись, вылетели из строя. Сержант не

смог сдержать улыбку, но в следующее мгновение, словно застыдившись своих чувств, уже опять кричал: — Отставить! Вам что, плохо? Что с вами?..

Весь взвод построился в несколько секунд, а Кохани... пока он надевал зачем-то снятый сапог, пока направлял свой огромный живот под ремень, — прошло еще полминуты. Потом он со всех ног бросился бежать в строй, но запнулся о койку, упал плашмя на пол и сбил несколько по растянутой ниточке, нами же выставленных табуретов. Мы рассмеялись.

— Что с вами? Ну, что, что, плохо? Отставить смех строю!

— Вы из-за Урала? — спросил старший сержант.

—?.....?.....?.....?.....?

— Там холодно? — еще спросил он потом и улыбнулся. Все обрадовались, заулыбались, заговорили. Я еще подумал, что сержант сейчас крикнет «отставить!». Но он промолчал. Все, поняв, что делают лишнее, примолкли. Но злобы на сержанта уже не было.

А, когда младший командный состав ушел в баню, мы вздохнули свободно. Кто-то сел играть на баяне и петь под него песни. И нам стало грустно. У некоторых даже стали красными глаза. И все замерли, глядя в одну точку.

Первые дни, говорят, в армии самые страшные. Я их уже пережил...

Откуда-то налетел ветер, и стало свежо. Кино было неинтересным, и я смотрел мимо экрана на двух ворон, которые летали над казармой. Потом тихо поднялся со скамьи и незаметно ушел в дальний конец армейского городка, где была беседка.

Ветер дул все более сильными порывами. С той стороны, куда уже село солнце, надвигалась темная туча. Иногда вдали сверкала молния, и слабо гремел гром. Я ждал грозы. И вдруг стало тихо. И я почувствовал, что грозу жду не только я, но и деревья, земля, асфальт и сама тишина. Туча уже закрыла половину неба, но было видно, что рваные ее края несутся мимо. Потом она стала удаляться, освобождая сумрачную голубизну вечернего неба.

Звезд еще не было. Когда туча совсем отошла в сторону, вновь налетел шумный порыв ветра. Зашелестели листья...

А потом стало темно и тихо. В небе засверкал Сириус.

— У вас сейчас строевая подготовка? — спросил майор с папкой и блокнотом в руках.

— Да, строевая, — ответил сержант.

— Для газеты... Что будете изучать?

— Начало устава. Положение о строе...

Майор аккуратно записал все в блокнот.

— Ну, а теперь — кто у вас хороший парень?

Сержант поискал глазами по взводу. Но не нашел.

— Ну, вот этот... — майор подошел к Витьке.

— Курсант Ведин, — Витька вытянулся в строевой стойке.

— Вы откуда приехали?

— Из Красноярска.

— Сколько классов?

— Восемь.

— Комсомолец?

— Да.

— Кем работали?

— Слесарем.

— А сейчас на кого вы все учитесь?

— На радистов.

— Ну, хорошо, а вы? — майор обратился к следующему.

— Курсант Линева!

— Сколько классов?

— Десять.

— Комсомолец?

— Да.

— Кем работали до армии?

— Шофером.

— А нравится на радиста учиться?

— Я... это...

— Нравится, значит, — майор все записывал в свой блокнот.

– А вы? — обратился он к Юрке.

– Курсант Кривошеев.

– Сколько классов?

– Нет шести.

– Комсомолец?

– Нет.

Майор захлопнул блокнот.

– Ну, ладно... спасибо, ребята, вам, пойду дальше — к другим солдатам. — Он улыбнулся и отошел.

Мы ехали по городу в кузове грузовой машины и глазели по сторонам. Я встретил взгляд какой-то молодой, хорошо одетой женщины. Оглядев нас, лысых, не по своей воле куда-то едущих, она с пониманием и чуть заметно улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ, и эдак, с иронией, будто сказал: «Да, вот так и живем».

Женщина заулыбалась сильнее, но в то же время постаралась скрыть свою улыбку, потому что улыбка уже выражала у нее не только сочувствие, но и веселость. Наверное, мы и на самом деле были смешны. Я с некоей неловкостью отвернулся. Но настроение осталось приподнятым. Меня поняли. Посочувствовали. В этом городе любят солдат...

Мы уже раз пятнадцать исполнили команды «налево», «направо» по подразделениям и начали выполнять «поворот кругом». Потом мы повторили строевую стойку. От солнца было нестерпимо жарко. Хотелось пить. Горели подошвы ног в сапогах. Пот тек по спине между лопаток под гимнастеркой, по лбу, собираясь каплями на кончике носа, по скулам, и нельзя было поднять руку — смахнуть его. А рядом с плацем в середине большой лужи стоял голубь и, не отрываясь, пил из нее воду.

Курсант Кохани

Це пятый звід?

В такую поганэ погоду.

У пятой роте.

Фахрундинов Табалт Анварович. Башкир.

Плохо то, что начинаешь злиться на человека, который не может повернуться правильно направо и из-за которого в воспитательных целях заставляют лишний раз поворачиваться весь взвод. Коллектив — это сила. Но где грань между коллективом и толпой?.. Испытываешь злость и на того, кто не выполняет команду начальника еще и из-за самолюбия, когда всем кажется, что первый выпендривается, старается выглядеть выше, сильнее тебя, с достоинством: мол, ты подчиняешься, у тебя его нет, а у меня есть и я не потерплю. И испытываешь сладостное удовлетворение, когда его наказывают за невыполнение. И говоришь другим, но — как будто оправдываясь перед самим собой:

– Как не в армии. Все равно ведь этим ничего не достигнешь, кроме нарядов...

Уже научился филонить...

Сегодня у меня счастливый день. Вдвоем с одним парнем напросились красить забор. По расписанию должны были быть стрелковая, строевая и физическая подготовки. А мы красили. Потом кончилась краска, и мы ждали, когда принесут новую. Сходили пообедать. Еще покрасили. Пошел дождь — это одно из немногих явлений, которые остались от свободной жизни; он ничуть не кажется другим в армии, такой же, как и дома.

Забрались на склад и ждали окончания дождя. Потом ждали, когда высохнет забор, потому что на сырой краска не пристанет. А там и личное время подоспело...

И еще ловишь себя на таком:

Я с радостью дал сержанту закурить...

СЭС — станционная эксплуатационная служба.

буква «ю»: ти-ти-та-та (тетя Катя), точка, точка, тире, тире.

цифра один: ти-та-та-та-ти (куда ты пошла)

два: ти-ти-та-та-та (я на горку шла)

семь: та-та-ти-ти-ти (дай, дай закурить)

вызов — буква «ю» — слушай меня

(Зарисовка с натуры:)

У него всегда, а особенно когда он смотрел внимательно, была поднята левая бровь и правая сторона верхней губы.

Когда мы вышли на зарядку, асфальт был полит водой из шланга, воздух был свежий и душистый, как рано утром у реки, когда над ней плывет туман и еще не встало солнце.

Я сидел в курилке в тени акации и курил. И вдруг надо мной просвистел крыльями голубь. Как утка над озером. И все во мне перевернулось.

Есть улыбки, которые умиляют. Такая улыбка была у старшего сержанта. Его серьезное лицо выглядело скорее хмурым, нежели серьезным, и мы его боялись. Но на его улыбку, которую он как будто стеснялся и прятал, наклонив голову, на морщинки вокруг глаз невозможно было смотреть равнодушно.

Хорошо быть больным в армии. В санчасти лежишь...

— Кто не выучил расписание? — спросил сержант.

Поднялось несколько рук.

— Кто не выучил, встать!

Встал почти весь взвод, кто остался сидеть — через некоторое время тоже поднялись.

— Вы думаете, я не смогу, не нарушая устава, наказать всех? — Сержант сделал безразличную мину. — Кто первый по списку?

— Я, — ответил Хлипин.

— А по какому списку? — спросил кто-то другой.

— По классному журналу, — сержант теперь переключился на чисто канцелярский вопрос. — Первые трое по списку — после отбоя подойти к дежурному по роте. Я вам потом скажу, кто по списку первый. Если завтра не выучите, то будут в наряде следующие трое.

— А я первый только по строю, — поднялся Хлипин.

— Я вам потом скажу, кто первый по списку.

– Так мы не слышали, что учить надо, — сказал кто-то, — мы в наряде были.

– Кто не слышал, встаньте. Поднялось несколько человек, в том числе и Хлипин.

– Ладно, садитесь.

– А что именно учить надо? — опять полез с вопросом Хлипин.

– То, что написано над тумбочкой дневального, — ответил сержант.

– Да сядь ты, Хлипин, я первый по классному списку, — сказал Бондарев с места. И мы все почему-то очень радостно засмеялись и почувствовали облегчение.

Жить можно везде. Нужна только во всем определенная доля оптимизма. Говорят, в армии теряешь идеализм и «розовый цвет». Мне, похоже, нечего было терять. Видимо, этих свойств во мне не было...

В казарме дурачились сержанты...

«Мускул свой, дыханье и тело тренируй с пользой для военного дела...»

Общежитие

– Обезжиренный! — засмеялся он над каким-то толстяком, показывая на него пальцем, и потом повернулся к ребятам, ища улыбающиеся лица. Но его не поддержали, и он затих.

Он мог часами давить перед зеркалом прыщи, и это было его любимым занятием. Давить чужие прыщи, где-нибудь на спине, куда сам человек не может дотянуться, для него было еще большим удовольствием.

В туалете на крайнем месте сидел сержант. Мне неудобно было устраиваться рядом с начальником, и я вышел в умывальную.

Челюсть у него была огромная и широкая. Весь он напоминал гориллу с голубыми глазами.

Он откусывал от целого ломтя кусок, смотрел на то, что осталось в руке, откусывал еще раз и еще, причем, одна щека непомерно раздувалась, но он запихивал в рот, кроме этого, еще кусок сахара и заливал все это чаем. Прожевав и проглотив, он повторял операцию с хлебом еще раз, но на этот раз ломоть исчезал уже совсем.

Когда мы вбегаем в столовую и садимся по отделениям за столы, руки просто сталкиваются у мисок с хлебом и вареным салом. Если зазеваешься, тебе достанется самый маленький кусок. И как было жгуче стыдно, когда младшим сержантам, нашим командирам отделений, которым первым тянуться к миске не позволяло чувство собственного достоинства (пока они, обозлившись, не стали садиться отдельно), доставалась миска с уже растерзанным и разграбленным.

Лопух (вроде зарисовки для стенгазеты)

Есть в нашем взводе лопух. До того неловкая... затрудняюсь даже слово подобрать... телега, что у всех вызывает раздражение. Если уж он что-нибудь делает, то никогда не думает о других, дело в его глазах все оправдывает: как же, ведь он трудится!.. Готовит ли раствор на стройке, обязательно обсыплет напарника цементом. Разливает щи — во все стороны летят брызги. А если выплюнет изо рта рыбную кость — непременно попадет тебе в тарелку. Претензий не принимает, виноват у него всегда потерпевший. В лучшем случае сам же удовлетворится единственной фразой: «Ну, извини. Я думал, ты уже похавал». Глаза у него бледные, ничего не выражающие, взгляд отсутствующий, рот вечно открыт. Язык лежит на зубах, лицо длинное, худое, неопрятное...

Как-то шла рота с обеда, в начале лета еще, в июне. Вдруг на асфальте прямо под ногами увидели выпавшего из гнезда птенца. Рота идет, нагнуться и поднять нет возможности, остановиться тем более. Начали обходить птенца стороной, обойдет один, толкнет сзади идущего, чтобы обратил внимание — и следующий забирает в

сторону. Лопух наш шел в середине строя. Когда его толкнули, он ничего не понял — а? что? — и стал с открытым ртом смотреть куда-то на окна казармы. Головка птенца исчезла у него под сапогом. Раздавил! У нас у всех, следивших за птенцом, просто досадливый вздох вырвался, а к лопуху — одно отвращение. Ведь так ничего и не заметил. Таращится куда-то в сторону, глаза без смысла, рот — картофелину можно воткнуть ...

Труба делов.

Ты черный хлеб больше обожаешь?

Я повесил ремень на шею и уже совсем приготовился расположиться в туалете, как объявили построение...

Подворотничок, если не успеваешь пришить его перед отбоем, пришиваешь утром, после подъема, перед утренним осмотром...

Вот уже четыре раза были в бане.

* * *

Дни в карантине были заполнены до отказа. Особо задумываться было некогда. И знаете, когда я понял, что я по-настоящему в армии? Во сне. Мне приснился друг с лицом, уставшим от лета, от реки, пляжа и солнца. Он шутливо говорил мне:

– На кого ты нас покидаешь? — и лез обниматься.

– Что, скучно? — спросил я, тоже шутливо отбиваясь от его рук.

– Не говори, надоело все.

– А вот как мне здесь скучно, ты и представить себе не можешь, — сказал я и проснулся.

Было раннее утро. В открытое окно задувал ветерок, слышался шум воробьев. И я вдруг отчетливо представил себе, что друга не увижу еще много-много времени, а прежним его не увижу уже никогда. И те слова, которые мы могли бы с ним сказать друг другу сейчас, мы уже теперь никогда не скажем. Те занятия, которыми мы занимались бы вместе в это лето, уже навсегда для нас

потеряны, ведь через два года мы будем другие. И обвинения наши пройдут, и эта дурашливость, наверное, исчезнет, да и дружба наша растает...

Я уже не засыпал и скучал целый час до подъема. Из окна дул свежий ветер, чирикали воробьи, было слышно, как работает движок радиостанции. А мне казалось, что это стучит моторная лодка, что это река, лес, туман...

В солдатском кафе на плакате — воин и девушка. Красивая девушка. И надпись: «Вы служите, мы вас подождем». Ничего более грустного они повесить в кафе не придумали...

На полях:

Вы помните, как они сникают,
Когда слышат «не знаю»
После первого поцелуя
Или первой ночи,
Когда совсем некстати
Задают этот свой глупый вопрос.

И где бы я ни находился, с кем бы ни был, никогда я не оставался один. Всегда со мной были мои мысли, природа и жизнь.

Присяга. С присягой кончается курс молодого бойца. И ты становишься солдатом.

Шоферы! Шаг вперед! Вы переходите в распоряжение товарища майора. Поезд утром.

– Ну, как же, будете жить за городом, там свежий воздух, природа!..

– Там что, леса?

– Нет, степи.

– Ну, если степи, тогда, конечно, природа!

Степи. Школа авиационных механиков

Все хорошо. Жалею о единственном. Что пошел в армию.

Кстати, о природе. Когда нас перед присягой в Приволжье повезли на стрельбище, мы, выйдя из автобуса, первый раз за весь месяц, проведенный за каменной стеной, увидели вдалеке лес. Это была дубовая роща. Поднимаясь на зеленую гору, она окаймляла полукругом большой луг.

И незаметно для самого себя я пошел туда.

– Курсант Дорофеев, вы куда? — окликнул меня сержант. Я оглянулся.

– Я ничего, — ответил я и вернулся к машинам. Нас построили и повели на стрельбы. Луг этот, на котором мы должны были стрелять, был по-весеннему зелен и свеж. Лента леса тоже свежая, яркая. Я так давно не видел неба над зеленой полосой горизонта.

– Курсант Дорофеев! — крикнул сержант.

Я повернул голову и увидел, что иду вне строя и к тому же в сторону от него.

На месте нам разрешили перекурить. Я прошел вперед, чтобы головы других не мешали мне смотреть на гору, и лег на траву. Дальше идти было нельзя. Лес манил к себе густой кроной и таинственностью тени. Я не считаю себя крепким человеком, но я никогда не думал, что могу расплакаться, глядя на природу. Закрыв глаза ладонями, будто от солнца, я незаметно вытер большими пальцами с глаз слезы.

В воображении

В степи было жарко и безлюдно. Надоедливое солнце жгло не переставая. Дул сильный ветер. Я снял с себя последнюю, оставшуюся на мне одежду и сразу почувствовал радостную легкую свежесть. Ветер тугим напором бил в живот и, лаская, растекался по бедрам.

В перекур

Мы сидели, отдыхали. Витька курил. Женька перематывал портянку. Игорь ничком лежал на траве и грыз травинку...

И как-то однажды я понял, что сплю не один, что на койке рядом спит такой же, как и я. Достаточно протянуть руку — и вот его лицо.

Солдат: «Учат на механиков самолетов. Неинтересная работа. Ковыряйся, ковыряйся, а летать другие будут. Вот шофером я бы поработал. Это хоть профессия...»

Капитан: «А знаешь, есть еще профессия. Инспектор по лесничеству. Разъезжаешь по участкам. Летом мотоцикл дают, зимой лошадь. Научился бы запрягать, сел, поехал. Два раза в неделю. Лесников трех в день объедешь, посмотришь бумаги, спросишь там, проверишь. И домой. Сидишь в тепле — сводные составляешь. А летом в лесу ягода, грибы, дичь. Разве не жизнь?.. Это сейчас заманивают в училища, высшее образование, конкурс. А раньше, в сорок девятом, когда порохом пахло, когда на Гавайских островах обсуждали: начать войну или нет, — не спрашивали тебя, не уговаривали. Вызывают — и все, мол, пойдешь в военное училище. Ты отвечаешь, что не хочешь, у тебя другие планы. «Тогда пройдите, вон, к старшему лейтенанту», — говорят. Подходишь к нему, а лейтенант — особый отдел. На три дня тебя заберут разбираться, потом сам подписываешься. Я тоже, может, не хочу здесь работать. Это ведь не мед. Захотел туда, захотел сюда, а приезжаешь в роту, тебе говорят: Костюченко дневальным стоял и выпил. У Серегина гимнастерка в тумбочке. А я, что ли, Костюченко совал в руки стакан? Серегина учил в тумбочке обмундирование держать? А сказать ничего не можешь. Ушел бы работать обратно техником самолета, там у меня всего один механик был, сверхсрочник. Никакой нервотрепки. Но — приказано. Армия. Здесь не спрашивают желания. «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим...»

На занятиях упрощенно говорили об одном законе теоретической механики. Мне стало радостно, что я учил его досконально. Но стало и грустно, что я его забыл и что мне никогда уже теперь не нужно будет его учить досконально. И что скоро я вообще перестану о нем помнить. И все те дни учебы безвозвратно уйдут в прошлое...

А потом нас повели строем в туалет. Здесь было очень много народа, и я вышел оттуда с забрызганными сапогами.

После вечерней поверки

– Хорошо поете, товарищи солдаты!

– Служим Советскому Союзу!

Я стоял на мойке посуды.

Обед. Началось. Первая смена, вторая смена. Тысяча чашек, полторы. Все!..

А когда вонь пропахших потом портянок несколько приутихла, я заснул.

...Человек не может жить страстями, чувствами, если он все время дает себе оценку. Чувства еще не успевают развиться до соответствующего проявления, а он уже загоняет их внутрь себя мыслью: а что я при этом ощущаю? И чувства прячутся, как улитка в раковину. Чувствам нужна непосредственность.

Как бы мне ни было плохо, что бы со мной ни случилось, всегда я думал: пусть так, но я все равно могу думать, наблюдать, анализировать. Этого я еще не лишаюсь. И от таких мыслей мне становилось легче...

* * *

В армии очень сильно переживается потеря друзей. Когда ты находишь здесь новых, наверное, становится легче.

Мне нужно было поговорить с кем-нибудь. С кем угодно. И я поговорил. Я выложил ему все. Он перешивал подворотничок и молчал. Наверное, даже и не слушал, но мне стало легче на душе...

Выйдешь вечером в степь. Встанешь и смотришь в сумерки. Ветер несет в лицо медовый запах лета. О чем только не размышляешь, о чем только не вспомнишь.

Где-нибудь на краю горизонта горит огонек.

Вбегая в столовую, ударился о скамейку костью голени. Такая боль охватила, что даже голова закружилась, слабость напала, и даже затошнило, когда боль стала понемногу проходить...

Ода в пользу боли

А когда боль прошла, я понял, как все-таки хорошо жить. Просто ощущать и себе способность к движению, здоровье. И не чувствовать ничего связывающего. И какое очарование таится в простой ходьбе, в элементарном сидении на стуле. Как хорошо смотреть на мир и видеть его без примеси боли и отчаяния.

Так вот радуешься жизни после сильного сердечного приступа или после длительного периода тяжелой болезни. Не надышишься, не насмотришься, и все кажется радостным, и готов все любить. И как знать, может быть, в этот момент как раз и дается истина...

На обратной стороне страницы

ДОМА

(Рассказ)

Молох

Когда-то в школе, на выпускном экзамене по литературе, он получил двойку лишь за то, что написал в сочинении, что смысл человеческой жизни, как там ни бейся, как ни ищи, а состоит только в продолжении рода...

Да, только в размножении. И мы ничем в основе своей, хотя чуть ли не лопаемся от гордости за свое обладание сознанием, не отличаемся от всей остальной грубой, борющейся за существование, плодящейся и занятой по существу только этим единственным природо...

Проснулся Молох утром раньше всех и все оставшееся время, до того, как встать, провел в полусне. Он слышал, как поднялись в семь часов из постели в соседней комнате его родители, как они начали ходить по квартире, громко переговариваясь, и повернулся на другой бок, натянув на голову одеяло. Долго слушал, как возится на кухне мать, как шаркает тапочками по коридору отец, как плещутся они в ванной, как одеваются в прихожей, собираясь уходить. Слышал, как где-то в девятом часу хлопнула дверь, щелкнул замок и стало тихо. Он пролежал еще с час, мучая себя этим вялым полусонным состоянием, когда прекрасно знаешь, что уже выспался, но вставать лень, да и не знаешь — зачем. Его начал донимать дневной свет, духота, и он сбросил с себя одеяло. В теле ощущалась какая-то болезненная слабость и изнеможение и, когда он вытащил из-под головы руки и попробовал, потянувшись, сжать пальцы в кулак, у него не хватило силы даже на это. Долго, с самых семи утра, он не решался открыть глаза и, когда все же открыл их, то готов был уже проклясть и обругать весь мир.

Он обвел глазами стены своей комнаты, вырезки из журналов, фотографию Брижит Бардо, перевел взгляд на пыльный плафон лампы, на шифоньер, затем вновь вернулся к фотографии. Вся поза ББ была до тошноты знакома, улыбка изучена, и вся фотография в целом вместе с дырками от кнопок засмотрена насквозь. А вид длинных ног, узкой талии и всей этой эталонной и недоступной женственности вызывал только раздражение и досаду.

Он повернулся лицом к стене, полежал, потом резко сел на кровати и поднялся. Убрал постель, пошел в ванную. Умылся, почистил зубы, потом заглянул на кухню. Завтрак стоял на столе. Под край стакана была подсунута записка с приложенным к ней рублем:

«Женя, мы с папой уехали в сад. Купи себе молока и хлеба. Приедем завтра. Мама».

Женька отрезал кусок колбасы и съел его стоя. Налил чаю, сделал несколько глотков, потом вытер со стола и убрал с него все в холодильник.

«Просто как у них все. Работа, пенсия. Сад, помидорчики, огурчики для окрошки... И вся любовь. Так и живем...»

Рубль он с собой все же прихватил и вернулся в комнату. Оделся, закурил и сел за стол, освободив среди книг под локти свободное место.

В институт он не ходил уже давно... Иногда, наплывами, его ужасала неизбежность надвигающейся сессии, но пока он махал на все это рукой, оставляя решение вопроса на потом, на будущее...

Он посмотрел на разбросанные на столе книги и пододвинул к себе Герцена, первый том «Былое и думы» с закладкой еще в самом начале. Книга читалась тяжело, и именно поэтому с нее он и начал.

Он оттеснил все лишнее на край стола. На пол упал сборник рассказов фантастики. Женька вспомнил о нем и с радостью отметил, что у него есть на сегодняшний день кое-что интересное.

«Но потом, — подумал он, — попозже...»

Положив под том Герцена пепельницу, начал читать с верхнего абзаца. Прочел несколько строк, потом встал, поднял упавший сборник с пола, положил его справа от себя и сел на стул; опять взял сборник в руки, посмотрел оглавление, полистал и снова отложил в сторону. Заставил себя вернуться к Герцену, но затратил на это столько нервной энергии, что почувствовал не только отвращение к книге, но и личную неприязнь к автору.

Когда-то, еще в детстве, он вывел для себя заключение, что самое главное — это больше читать. Почему именно?.. Он старался не задавать себе этого вопроса, боясь, что, если поразмышлять, то и это окажется миражом. Но думать так — это, по крайней мере, как-то воодушевляло, утешало, придавало смысл...

С трудом прочитал одну страницу, другую, третью, накнулся на любовную историю Герцена с замужней женщиной и прочел еще страниц пятьдесят с увлечением. Потом пошли «думы», и он опять потерял интерес. Но, как всегда и бывало, стал себя заставлять и пересиливать.

Можно было, конечно, книгу бросить и не читать — вроде бы ничего страшного, но тогда бы он начал еще больше мучиться из-за мысли, что читать может только остренькое. Это был замкнутый круг, и не дочитать он не мог. Поэтому пусть там все скучно, пусть книга читается с недельными перерывами, но он не переставал себя казнить до тех пор, пока не добирался до последней страницы.

Он промучил себя еще с час, сосредоточиваясь и пробегая глазами по нескольку абзацев, но потом, ловя себя на гнусной хитрости — читать, не улавливая смысла, возвращался назад, перечитывал всё вновь, снова ничего не понимая. Наконец он оттолкнул от себя книгу, поднялся и отошел к окну. На улице шел снег, засыпая скамейки и гравийные дорожки, и Женька долго смотрел во двор дома, куря сигарету и думая о том, что вот, прошло еще полгода...

Вернулся за стол, попробовал опять читать Герцена, но почувствовал, что это уже сверх сил. Пододвинул к себе фантастику. Но читать расхотелось уже и это. Долго бродил по квартире. Потом оделся и без всякой цели вышел на улицу...

Дневник **(Продолжение)**

Одного не пойму, эти поиски смысла жизни свойственны возрасту или они возникают в связи с какими-то определенными обстоятельствами?.. В связи с бездельем, например, или избытком времени...

Нашел пятнадцать копеек и купил себе мороженое.

Зарисовка с натуры

Беленая стенка начиналась высоко над крашеной панелью. Солдат долго не мог достать разделительной полосы и белой поверхности. Все старался, но никак не удавалось. Наконец это у него получилось, и он, успокоенный и удовлетворенный, начал мочиться уже в желоб.

Как только меня не звали в армии. И Достоевским (это я ходил везде с томом «Братьев Карамазовых»), и профессором. Разумный, «чума начитанный». Политический...

Вот уже шестьдесят раз перешел подворотничок...

Ребячество, чтобы выполнять хорошо и быстро команду, во мне было; соображение, заключающееся в том, чтобы подчиняться командирам и не прекословить — я имел тоже. И, в общем, служить мне было довольно легко.

* * *

К свирепому командиру приехала дочка.

Я вырывал неположенную на песчаных «газонах» солдатского городка травку. Выщипывал ее у дорожек и штакетника. Но она была наглая, росла крепко и во всех щелях. Я измучился с нею...

Они не могли себе представить, что читать «Евгения Онегина» можно не только для того, чтобы готовиться в институт, но и из-за того, что он мне нравится...

Разрезал огурец на несколько долек и меньшую взял себе (на «гражданке»).

(Да, именно. Здесь сделаешь совершенно противоположное).

На полях

Ностальгия

Готов пройти все муки ада¹,
Лишь только бы вернуть назад
Протяжное мычанье стада
И зелень огуречных гряд.
За пробку выпитой бутылки
Отдал бы все, чем сейчас богат...
Чтоб видеть снова полевые
Цветы на Ильином лугу
И слякоть в стайке...

¹ Просьба не судить строго эти стихи, это все-таки заметки на полях, наброски...

Я б много дал, чтоб видеть снова
В ночную пору огни сел,
Когда с покоса бредешь до дому...
Я б много дал.
Я б отдал все.

На слякоть в стайке полусгнившей,
На грязь, на утлый обласок...
На синюю клеенчатую скатерть,
На печь беленую, поленья у плетня
Я б променял...

И влажный топкий берег пруда,
Гусиный гогот, пух в воде.
И женственное дыханье луга...

И обветшалая запруда.

Готов принять любые муки,	Оставил детство, как игрушку
Лишь бы почувствовать опять	В прогнившем, углом обласке,
Очарованье деревенской скуки...	На пне сосновом у опушки,
(Попытка освоения чужой роли).	В тумане, никнущем к реке...

С натуры (на конном дворе подшефного колхоза)

Он поставил лошадь в станок, вывесил ее над землей ремнями, поддетыми под грудь и живот, и привязал к бревну стойки ногу. Срезал часть копыта ножовкой, подравнивал белую кость рашпилем, прибил подкову и загнул вышедшие сбоку копыта гвозди.

Бывало, вечером, проезжая на автобусе по коммунальному мосту, увидишь на мгновение, как над рекой садится солнце, но некогда любоваться закатом...

Эй, военный, подай мячик...

«Они оба, муж и жена, после получки брали два ящика водки, запирались у себя дома, закрывали ставни, захватывали с собой ведра для всяких нужд и безвылазно пили неделю-две подряд. Потом появлялись желтые, худые...

Он был хорошим инженером, и его держали только из-за его головы...»

Комолье — безрогие. Суягная овца, окотившаяся.
Стельная корова, нетель...

В городе

Прямо на них шла девушка. Такая девушка! С родинкой на щеке, молоденькая, с такими ножками!

– У-у, — протянул первый солдат.

Она увидела их слишком поздно, хотела перейти на другую сторону улицы, но солдаты были уже настолько близко, что не могли бы не понять этого ее бегства.

Она набралась смелости и, смотря прямо перед собой, прошла между ними.

– Девушка, — окликнул ее первый солдат. Девушка испуганно оглянулась.

– Будьте добры, где тут магазин?

– Магазин?.. Да... Вот за углом.

– Спасибо, девушка, — сказал второй солдат.

Она посмотрела на говорившего, кивнула головой и пошла своей дорогой.

– Тебе зачем в магазин-то? Деньги, что ли, есть?

– Нет, просто так.

Девушка вдруг вернулась и сказала:

– Магазин за углом, и нужно еще квартал пройти.

– Спасибо большое.

Девушка улыбнулась и ушла с успокоенной совестью.

Небо красиво в любое время дня и любую погоду. В жару, холод, ночью и днем. Небо прекрасно всегда. Достаточно запрокинуть голову — и, разбежавшись в разные стороны, оно поражает нас своей необъятностью и глубиной. И порой кажется, что оно специально создано таким, чтобы тянуть человека в свою бездну.

Я становлюсь сухим человеком — теряю способность писать стихи.

Отшельник

(опыт «благополучного», газетного рассказа)

Рассказ, написанный во внеочередном наряде, полученном в порядке наказания за отсутствие у пишущего эти строки с кем-либо во взводе тесных дружеских отношений...

У него длинные, загнутые вверх ресницы, черные и густые, как заросли камыша. И такие же черные, глубоко посаженные глаза. В них даже смотреть неприятно, настолько они глубоко расположены. Да и взгляд у него такой же: будто он рядом и в то же время его нет, далеко...

Ни с кем он не дружит, никто с ним здесь коротко не знаком, призывался он откуда-то из Забайкалья, земляков у него нет, и никто его толком не знает. Да и как узнаешь, если он все свободное время проводит у забора в самом дальнем углу нашего городка. Положит подбородок между планок штакетника и смотрит все куда-то. Ни с кем он не разговаривает, даже на вопросы не отвечает, пока их ему не задашь второй раз. Да и ответит как-нибудь односложно, невнятно, что и не поймешь, тебе ли он ответил или так, сам с собой разговаривает. А потом отойдет от тебя, глаза в сторону, и опять ничего не замечает и не слышит.

В строю вечно приходится его ждать. Когда мы строимся на ужин, всегда ищем его по несколько минут. Бегаем по казарме, по территории и орем: «Зуев! Зуев!..»

Избрал он себе одно потайное место: залезет на тополь и сидит там часами, попробуй — найди... Честно говоря, мы даже втайне радуемся, когда ему за все это дают наряд вне очереди — ну, да и в самом деле, сколько рота может стоять и ждать его. Наказания он принимает набычившись, бессловесно, только угрюмо посмотрит из-под бровей, и все, но, скажу, неприятный взгляд... Объявляли ему нарядов бессчетное количество, каждый день

работает. Но ничего не помогает. Как только свободная минута — опять нет, опять ищем. Ходить в строю не умеет, сзади него идти невозможно, засмотрится куда-нибудь в сторону и запинается, а ты ногу меняешь, задние на тебя кричат за это... На занятиях, когда вызывают, тоже молчит, в тетрадах всякую ерунду рисует, ему и за это влетало, но результата никакого. Командиры с ним измучились, взвод наш из-за него трясут постоянно. Мы уже говорили, ну не хочет человек служить в армии, отправьте его куда-нибудь домой, к черту, только бы с глаз долой, сколько нервов уже нам перепортил!

И, представляете, повезло нам. Заболел Зуев и в госпиталь слег. Хотя и нехорошо радоваться такому, но мы были страшно рады. Посудите сами: в строй мы теперь станем все как один вовремя; успеваемость у нас отличная, и взвод с последнего места на второе выбрался. И все это — за две недели, пока Зуев в госпитале был... Не правда ли — хорошо?

И вот проходит слух, что Зуева комиссуют. Прошел слух — сам Зуев в части появился. Спрашиваем: «Что, серьезно, что ли, домой поедешь?»

— Не знаю, — буркнул только, и на этом разговор закончился.

И опять у забора стал пропадать. Правда, смотрит теперь не так хмуро. Видно, радуется, что так рано демобилизуется, ведь так не хотел служить. И он доволен, и мы довольны. Завтра днем уже и поедет...

Часть вторая

Я призывался в армию из деревни, из Забайкалья. Кто там был, тот видел, какая там природа! Какие сопки! Как по утрам стелется туман над рекой, а сквозь него эти мохнатые громадины проглядывают, одна, вторая, а над третьей — нимб золотой, это из-за нее как раз и должно появиться солнце. А, как выглянет оно — засверкает все, заблестит, в движение придет... А охота там!.. Мох у нас в тайге мягкий, упругий, идти по нему — одно удовольствие. Воздух свежий,

влажный, не то, что в степи: как подует ветер, так сразу сухо во рту делается.

Это у меня, наверное, от перемены климата как раз ухо-то и разболелось. Никогда к врачам не обращался, а тут привезли в госпиталь и говорят: «Воспаление среднего уха». А я даже не знал, что такое ухо может быть. Хотели еще операцию делать, тоже новенькое дело. Не дал я, конечно. Само, поди, пройдет. А тут говорят: домой поедешь. Я обрадовался сначала... да вот, оказывается, радоваться-то нечему. Странно, но, оказывается, полюбил я уже вот у этого забора стоять. В сумерки особенно. Придешь сюда вечером, встанешь и смотришь в степь. Ветер несет в лицо медовый запах лета. О чем только не размечтаешься, о чем не вспомнишь. Где-нибудь на краю горизонта горит огонек... Да и не тянет меня теперь домой, как в первые дни. И чем ближе подходит время, когда приказ обо мне придет, тем больше уезжать не хочется. Подходит ко мне вчера парнишка, который позади меня в строю ходит, говорит: «Завидую тебе, Зуев, скоро домой поедешь, плевать тебе на эту армию. Дембель! Хорошо тебе...» Я ему ничего не ответил, но подумал: «Ведь свыкся я уже с ребятами здесь. Вот уж никогда не думал, что с ними трудно расставаться будет. Вроде и не любили они меня, а мне все равно грустно терять теперь их...»

Да и не большая радость — болезнь в голове иметь. Что ж я, оказался хуже других?.. Провожали нас всей деревней, как я приду?.. И дома кто меня ждет? Пес один охотничий да карабин отцовский...

Дневник, продолжение

Сон солдата в армии

«Зараз наливают мне пива в бокал. Держу сперва маленький, потом он вдруг большой сделался. Иду к столу, тороплюсь, пиво хлѐпает, я бегу, оно хлѐпает, вот-вот выльется. Добежал до столика, поставил. Сейчас бы только выпить... дежурный будит: «Рота, подъем!»»

Мы ночевали когда-то во времена моей гражданской жизни в одной деревне. Помню, сидим ужинаем, приходит маленькая девочка и говорит, показывая бутылку «Российской»:

– Купите...

– Откуда?

– Отец купил две, одну выпил, другую вот я утащила. Хлеба надо купить, денег нет. Купите...

Мы взяли, конечно, водку. И она оказалась как раз кстати.

В армии, наверное, все-таки следует побывать. Как-то реальнее, несколько проще, но в то же время и мудрее начинаешь смотреть на вещи. И даже открываешь некоторое удовлетворение в том, чтобы постоянно провоцировать себя самого и тихо посмеиваться над своим собственным розовым идеализмом.

* * *

С коммунизмом борьба в человеческом обществе не кончится. В том значении этого слова, какое вкладывали в коммунизм Бакунин или, скажем, Кампанелла, он не лишит группы людей необходимости вести между собой борьбу. Общество не может развиваться без борьбы. Но если до коммунизма она определялась производственными отношениями, отношением к собственности, то при коммунизме будет определяться, видимо, отношениями умственными. Борьба мыслей, борьба старого и нового, старых и новых научных идей. А не борьба за счастье, за лучшее место под солнцем. Там будут другие задачи, другие пути борьбы.

Ну и конечно уж, без армии и насилия.

* * *

Стекла отражали желто-розовый свет заката. И, если смотреть на них прямо, то они похожи на яркие слюдяные пленки.

* * *

Звезды как дырки
В черном картоне неба.
Что я невольно подумал,
Недаром называли древние
Небо небесной твердью.

* * *

Вы встречаетесь где-нибудь в аэропорту или на вокзале, и ты в первый же день ее целуешь. Да что там говорить, ты в первый же день ведешь ее домой. А когда она требует плату — а девушкам всегда нужно платить, ведь они отдаются, — когда она требует плату: взамен всего одно лишь слово, ты замыкаешься в молчании или мужественно заявляешь: «Не знаю». Но ты даже представить себе не можешь, что делается в этот момент у нее в душе.

* * *

В середине августа уже стало холодно. Даже если с чистого неба светило солнце, все равно уже не было жарко, как полмесяца назад. Иногда дул ветер и срывал с тополей листья. Они валялись на траве еще не желтые, а чуть поблекшие.

Начало дружбы

Сержанты провожали по городку до КПП библиотекаршу. Моросил дождь. Один из сержантов нес над девушкой раскрытый зонт.

Вдруг заревел ревун тревоги. Сержанты остановились. Ревун гудел.

– Проверяют, наверное, — сказал тот, что нес зонтик, и взял библиотекаршу под руку. Они прошли шагов пятнадцать.

Ревун ревел.

Вдруг сержанты оба разом, не сговариваясь, рванулись назад и, бросив девушку, понеслись во весь дух к казарме...

Время взводу засчитывается, если до финиша добегут все. Весь взвод без исключения...

Первые два километра я бежал очень легко... ну, положим, не очень, но все же иногда смотрел по сторонам и, отвлекаясь от мыслей о беге, следил, как справа за посадкой проносится длинный состав. Невдалеке по шоссе шли машины. Шоферы, улыбаясь во весь рот, высовывались по пояс в окна, так, что чуть не выпадали из кабин, и орали, и махали нам руками.

Все бежали легко. Бежали в ногу и строем. Когда обогнули первого пикетчика, дорога пошла под гору и по ветру. Мы прибавили темп. Строй разорвался на несколько частей. Первая шеренга ушла вперед на несколько метров.

– Направляющие короче шаг! — крикнул замкомвзвода и, отстав, побежал сбоку.

У трех высоких тополей стоял второй пикетчик. Мы повернули влево. Это была уже половина пути. Я чувствовал, что у меня страшно горят щеки. Со лба лил пот и задерживался на бровях. Я смахивал его ладонью, чтобы не попал в глаза. Гришка Коваленко, грузный, с брюшком, хохол, начал запинаться. Лицо у него сделалось пунцовым, он тяжело и шумно дышал.

– Левый фланг, подтянись! — скомандовал сержант.

Строй совсем рассыпался. Бежали не в ногу, кому как было легче, но все же довольно кучно.

– Направляющие, короче шаг! — еще раз крикнул сержант. — Задние, помогите Коваленко.

Соболев забежал вперед Гришки и, повернув голову, выдохнул в лицо Коваленко:

– Хватайся!

Гришка взялся за ремень Соболева левой рукой и с этой помощью догнал переднюю часть бегущих.

Я дышал неправильно, вдох и выдох через рот, в груди у меня жгло, во рту был горький привкус. Я сплюнул

пенистую липкую слюну, и она, потянувшись, упала мне на сапог. Я еще раз сделал попытку взглянуть в сторону и увидел, что мы бежим около озера. В другое время я бы с удовольствием посмотрел на воду, искал бы глазами уток, но сейчас мне было не до того. Я наклонил голову и стал смотреть себе под ноги, сосредоточиваясь на беге и пытаюсь растянуть вдох на четыре шага.

Соболев уже потащил на буксире двоих. Наконец он выдохся, бросил ребят и чуть приотстал. Второго парня, которому помогал Соболев, взял под руку Зиновьев, наш футболист, а Коваленко перешел с бега на шаг, начал делать глубокие вдохи и крутить руками.

Я подбежал к Коваленко и, оттянув сзади ремень, сказал «на!».

– Нет... я сойду... задыхаюсь, — произнес он.

– Берись! — рявкнул я, и он испуганно схватился за пояс.

Пробежав метров триста, я понял, что, если Коваленко подержится за меня еще минуту, я упаду. Передав Гришку бежавшему сзади и хватая ртом воздух, я стал выравнивать дыхание. Это мне не удалось, воздуха не хватало, ноги отяжелели. До финиша уже было недалеко, и я напруг последние силы. У Коваленко закололо в боку, он скорчился, его подхватили с двух сторон и потащили вперед. Гришка болезненно морщил лицо и еле передвигал ногами. Решив, что упаду в конце дистанции, я, спотыкаясь, все же добежал до последнего флажка и остановился. В груди гулко колотилось сердце. Кружилась голова, тошнило. Замкомзвода толкнул меня и приказал ходить.

Через десять минут мы уже все пришли в себя и, садясь в машины, без умолку говорили о прошедшем кроссе и ругались.

О, этот кросс, какой его придумал пес! Мы устало плюхнулись на скамейки, и машина тронулась. Все улыбались, курили и были довольны сами собой и друг другом.

В казарме я подошел к зеркалу. Лицо было еще красным, на лбу белой пудрой выступила соль. Я умылся, стало свежо. Вытерся насухо. Потом собрался почитать, но был сильно возбужден, настроение не для чтения, и к тому же

хотелось рассказать, как я добрался до финиша. Я пошел к ребятам. Они сидели в курилке и смеялись. Я достал пачку и дал всем закурить...

* * *

Иногда хочется порывов. Отчизне посвятим души прекрасные порывы. Но начинаешь думать, что такое отчизна, что такое порыв. И становишься черствым.

* * *

Иногда шел грибной дождь. Теплый, тихий, нежный и бесконечно долгий. Он чуть шелестел листьями тополей, и уже с них срывались и с чмоканьем падали крупные редкие капли.

* * *

Возьму ли в руки газету или свежий журнал. Прочту. И становится до отчаяния грустно, что не могу быть там, о чем пишут. В цивилизации.

Свобода — это великая вещь.

ДОМА

Рассказ третий

Абитуриенты

1

Олег Мельников с Гришкой Тихоновым близко сошлись только с поступлением в институт. Знакомы они были давно: жили в одном доме, постоянно встречались во дворе, играли в футбол, но Мельников держался несколько особняком. У него были более, нежели у других ребят во дворе, интеллигентные родители. Мать у него работала директором школы, в прошлом работала, до пенсии, а отец его был подполковником в отставке. Это был видный мужчина, деятельный, умный и знающий

себе цену. Олег унаследовал от него высокий рост, широкие плечи, прямой красивый нос и самоуверенность. Не то, чтобы он держался высокомерно, но он еще никогда не задумывался над тем, что может иметь какие-то недостатки.

Гришка Тихонов, в отличие от Олега, был человеком застенчивым. Он был маленького роста, нескладный, но это не мешало ему иметь гордость и быть порой веселым и бесшабашным до безответственности. В школе он поспорил со своим преподавателем математики, которая при всем классе высказала сомнение в его способностях к естественным наукам и не советовала поступать в технический вуз. Он поспорил, вернее, заявил, что, после таких слов не подай он заявление в технический вуз — он бы чувствовал себя полноценным человеком. И свое слово он пока сдерживал.

Мельников же выбрал институт по наущению матери, у нее там были знакомые. Не то, чтобы это было связано с «блатом» или договоренностью — мать Олега никогда бы до такого не опустилась — просто, в этом институте ее хорошо знали. Знали и ее сына.

А Гришка этот институт выбрал потому, что из всех технических он был самым ближайшим. Почти рядом с домом, всего минуты три ходьбы...

Знакомы ребята были давно, с детского возраста. Но, если раньше они только жили в одном доме, то теперь им предстояло вместе учиться на одном факультете, а может быть, и в одной группе, и поэтому они начали вместе готовиться.

С утра, в десять часов, Гришка приходил к Олегу домой — родители Олега почти все время были на даче — и первое, что он делал, это занимал место на диване. Снимал пиджак, ботинки и растягивался на нем, подложив под голову вместо подушки книгу. У Гришки была удивительная способность никогда не выспаться.

– Спал бы дома, — говорил Олег.

– Мать выгоняет. Она считает, что, если уж я у тебя, то все идет нормально. Ты безделья не позволишь.

– Да-а, — неопределенно протягивал Олег и закуривал. Гришка опять поднимал голову с книги и, повернув ее к Олегу, спрашивал;

– Родителей опять дома не было?

– Не было. На даче.

– Так. Еще один день потерян. Когда мы, наконец, квартирой-то попользуемся?

– Организовывай. Я не против.

– «Организовывай»... Да, надо бы, — говорил Гришка и опять опускал голову на книгу.

Часа через полтора они все же начинали занятия. Заниматься было скучно. В окно с улицы залетали мухи, голоса ребят, смех, слышался шелест листьев. В полдень оттуда тянуло жарой, духотой, пылью. Все это отвлекало и мешало готовиться.

– И на черта мне этот институт сдался! — начинал жаловаться Гришка.

– Не говори, — с радостью отрывался от книги Олег и вставал из-за стола.

Больше, правда, сказать им на эту тему было нечего, и они минут десять задумчиво курили, глядя в окно или ходя по комнате. Потом шли обедать. Гришка домой, Олег в столовую. Потом опять собирались у Мельникова и занимались уже до вечера.

2

Первый экзамен был по физике. Сдали они его оба на пятёрки. Чему сами были удивлены больше всех.

– Я думал, труднее будет, — сказал Олег, выходя из дверей.

– Я тоже, — согласился Гришка.

– Какого черта мы тогда столько возились. Столько крови, столько пота!

– Ага... По этому поводу сегодня стоит трахнуть.

– Конечно.

Они собрались у Олега, не забыв позвать с собой Бориса Ижина, который жил в их доме. Борис был старше их, ему было уже двадцать лет, и он уже работал не то

копировщиком, не то чертежником в каком-то проектном учреждении. Он окончил десять классов, в институт не поступал, а в армию его не брали из-за болезни желудка. Борис всегда составлял компанию на вечеринках, мальчишниках, выездах на природу. И, если ребята выпивали где-нибудь на детской площадке под грибком, он обязательно тоже был с ними и там. Хулиганом он не был, но считался опытным и во дворе имел вес.

Олег потратил большую часть оставленных ему родителями денег, Гришка — все, что имел, Борис выделил пятерку. К купленному Олег еще достал из холодильника маринованные грибы и какие-то консервы. Закусывали грибами. Грибки были маленькие, круглые, скользкие, с них капал густой и мутный маринад, они упруго разламывались на зубах, оставляя во рту острый запах, заглушавший дух водки.

— А когда ты поступать будешь? — спросил Бориса Олег, когда они выпили еще по одной рюмке.

Борис насмешливо улыбнулся. Он накладывал на край стакана с пивом соль, несколько кристаллов упало в пиво, и со дна потянулись струйки пузырьков.

— Выбираю, куда пойти, — ответил он.

— Счастливым ты, выбирать можешь.

Борис отпил из стакана и слизнул соль. Борис всегда смеялся над страхом, который испытывали ребята перед необходимостью, если провалятся на вступительных экзаменах в институт, идти в армию.

— А кто вам не дает? И чего вы мучаетесь, — я не понимаю, сходили бы спокойно в армию и тоже выбирали бы, не торопясь, без нервозности, и не висело бы над вами ничего.

— Два года жалко, — сказал Гришка.

— Ох, уж, какая содержательная, можно подумать, у вас жизнь! Я, вот, два года проболтался и не успел заметить, были они или нет. И ничего, не страдаю, что никуда не поступил. И уже думаю: надо ли вообще куда-то поступать...

— Так это ты...

– А вы очень целеустремленные, надо понимать. Вы прямо с детского сада стремились в ваш благословенный институт.

– Но нужно хоть попробовать! Нам сейчас легче, мы программу помним.

– Просто выучили. Приспичило если б уж сильно, выучили бы и потом. Если уж так надо. Чего суетятся?.. И зачем все это им?..

Ребята думали и молчали.

Когда в бутылке осталось на доньшке, Борис встал из-за стола.

– Пойду найду Райку, — сказал он и вышел. Вернулся он минут через двадцать. Райка вошла хмурая. Где ее нашел Борис, можно было только догадываться. Лицо у нее было опухшее, под глазами круги, прическа сбита набок.

– Откуда ты такая? — спросил, улыбаясь, Гришка.

– А, отстань, — бросила она, подходя к зеркалу. Выпив две рюмки водки, Райка повеселела, глаза ее заблестели и даже, казалось, лицо приняло нормальный вид.

– Хотите, я девчонок позову? — сказала она.

– Зови, — как хозяин согласился Олег.

Райка подошла к телефону и стала набирать номер.

Своих дворовых девчонок ребята не любили. Не любили — это не то слово, они их просто мало уважали, их к ним не влекло. Раньше, в детстве, ребята часто играли с ними, ходили в кино, ездили за город, иногда целовались, у некоторых была дружба, объяснения в любви. Но как-то получилось незаметно, что они стали для них слишком своими, слишком равными, которых не надо было стесняться, которых они сами же приучили курить, ругаться, пить в компании. В общем, сделали их равными во всем. А потом, позже, когда они поняли, что равенства-то между ними быть не может, что девчонки — девушки, а ребята — парни, девчонки ребятам стали казаться грубыми, неотесанными, а ребята искали идеал. Приглашали они их с собой теперь только в крайних случаях, когда пригласить уже было некого. «Старыми боевыми подругами»

звали они их. Хотя, сказать по правде, так как идеал все не находился, праздники они по обыкновению встречали все так же сообща.

Девчонки же в свою очередь тянулись к ребятам тоже по старой памяти. Никто из ребят за ними уже не ухаживал, да и ничего они уже и не ждали от них, но, за отсутствием более широкого круга знакомств, за исключением одной-двух вышедших замуж, все девчонки поддерживали с ребятами постоянную связь. Были в курсе всех событий, кто куда поступает, кто как живет и, как чувствовал, приходили к ним, когда ребята собирались где-нибудь одни.

Они всегда заваливались шумной ватагой. Ребята не обращали на их появление никакого внимания, продолжали стучать в домино или азартно мусолили старую потрепанную колоду карт. Девчонки им мешали.

— Девки, идите на фиг, мы играем в «хруп», — не поднимая на них глаз, говорили они.

Девчонки садились в стороне, своим кружком, курили, болтали и, что удивительно, и тем, и другим — и парням, и девчонкам, сидящим отдельно и почти не разговаривающим компания с компанией — все равно было приятно находиться вместе.

Райка дозвонилась до двух девчонок, до Ольги и Светки.

Первая, Ольга, как вошла, сразу накинулась на Бориса:

— Ты когда мне принесешь Алена Делона?

— Какого еще Алена Делона? — поразился Борис.

— Портрет в «Экране», ты же обещал.

— А, ну да, принесу, принесу, никуда, не денется...

Во вторую девчонку когда-то был влюблен Гришка.

Но все это, как говорится, дела минувших дней...

В квартире стало шумно, Олег перевернул на магнитофоне пленку, задернул шторы, включил свет.

— Девчонки, деньги есть? Надо послать.

Девчонки доставали рубли, ребята выскребали оставшуюся мелочь. Потом Борис приготавливал три спички. Тянули их по очереди. Бежал Гришка...

3

Два следующих профилирующих предмета ребята сдали на четверки. По пятерке получили за сочинение. Гришка получил тройку на последнем экзамене по химии, Мельников химию завалил. Но в институте мать его знала, и какими-то путями ему разрешили пересдать.

Зачисление было двадцатого августа. По конкурсу они прошли, с собеседования вышли улыбающиеся, а в сентябре уже ехали в колхоз.

* * *

Мне приснилось, как выл за спиной мотор, как задира-ла на полном газу нос «шпонка» и как прыгала на волнах, выбивая из них холодные брызги.

* * *

Каждое утро для меня — радость. Она начисто прогоняет сон. И радуешься тому, что не хочется спать, тому, что день только начался.

Дома

Внезапно я понял, что устал, понял, что то, чем я занимаюсь, не главное, что это ерунда, и то, что у меня получается — пустяки. Ничтожно. Мне захотелось просто походить по городу, выпить пива, позагорать...

На сцене кафе в перерыв один из гитаристов оркестра бил по струнам гитары и орал:

«А у дельфина испорото брюхо винтом,
Выстрела в спину не ожидает никто.
Ах, парус, порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь...»

Игорь повернул лицо к ребятам и сказал:

– А, пропади оно все пропадом! Тратим остальные деньги.

– А дома тебя не это?

– Что теперь! На семь рублей шапку все равно не купишь...

– Ладно, я тебе свою старую отдам. У нее, правда, местами мех вышоркался, но издали почти незаметно.

– Я матери скажу, что такие в магазине давали... Будь, что будет. Девушка! Пожалуйста, еще... Любить — так королеву, гулять — так до бесчувствия...

* * *

Сова сидела в десяти метрах от поста. Я смутно различал ее в слабом свете фонаря. Долго сидела на коньке крыши. И все — я был не один в ночи...

* * *

Домой придешь, иди посудомойкой работать.

Кокани — король кухни.

К КПП подошли с улицы девчонки, чтобы вызвать кого-то из штаба. От одной их близости у меня часто забилось сердце.

Вечером за территорией части слышались пение и девичий смех.

На посту ночью, когда я часовым, я всегда читаю стихи. Если есть звезды, я читаю звездам, если есть луна, читаю луне. Я знаю всего одно стихотворение, где упоминается луна, это есенинское: «Какая ночь! Я не могу, не спится мне. Какая лунность...» Дальше идет уже совсем не про луну, но я читаю до конца, кончая словами «и липы тщетно манят нас, в сугробы ноги погружая». Если есть там что-то еще, то я уже не помню. Потом я начинаю читать все подряд. Оказывается, что я мало знаю. На два часа меня не хватает. Приходится повторяться. Вспоминаю даже школьное «Мцыри»...

Ночь была лунная, в селе скулили, протяжно выли и лаяли собаки.

Но скудны и стерты человеческие слова. Разве я могу описать то, что я испытывал после длинной, невыносимо сонливой и бессонной в карауле ночи, глядя на восход солнца, на туманную сказочную чистоту утра.

Разве я могу передать словами то, что я не только видел, наблюдал, а и ощущал рассвет, был частицей его, его составляющей. Вместе с рождением нового дня рождался и я сам, — для новых дел, для новой любви, для новой дружбы.

Начало дня всегда было и будет поразительным зрелищем. Это, наверное, заложено в человеческой природе: встречать рассвет безудержной радостью.

Единственное, что мне не внушает скепсиса, так это рассвет.

Становишься пьян от счастья, от вдруг нахлынувшей на тебя любви и доброты к людям.

В конце первой тетради

Ивлеву должен 40 копеек.

Амбиция — самолюбие.

Импозантный. Пиетет.

«Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства».

В. И. Ленин, «Великий почин»

Эдмон Ростан — «Сирано де Бержерак»...

«Цель жизни нашей для него

Была заманчивой загадкой,

Над ней он голову ломал

И чудеса подозревал».

гл. 2, «Е. Онегин», А. С. Пушкин

«Но ты, Бордо, подобен другу,

Который в горе и в беде,

Товарищ навсегда, везде

Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует Бордо, наш друг!»

гл. 4, «Е. Онегин», А. С. Пушкин

«E sempre bene, господа!»
(Ну что ж, отлично, господа!)

«Е. Онегин», А. С. Пушкин

Часть третья
Вторая тетрадь

ДНЕВНИК СОЛДАТА
В МИРНОЕ ВРЕМЯ
(Продолжение)

И, странное дело, мучительные поиски смысла жизни здесь как-то пропадают сами собой. Когда ты с утра думаешь о том, что дадут на обед, где перехватить закурить и как успеть перешить подворотничок до отбоя — как-то не до того. Никакие спекуляции о бессмысленности человеческого существования тебя не угнетают — мало того, они даже не приходят тебе в голову. Им просто некогда и незачем к тебе приходиться.

У человека должно быть все, чтобы оставалось время и мысли на поиски главного.

18 сентября

Вышли на зарядку. Было еще довольно темно. Только светало... Но казалось, что темнота создается от громадной тучи галок, летящих над казармами. Туча была густая и настолько длинная, что не было видно конца. Темные точки до самого горизонта. Галки тянулись с юго-востока, над полем за городком они начинали летать кругами и садиться. А от горизонта все тянулись и тянулись запоздавшие птицы. Шли парочками, по одной, звеньями из трех и небольшими кучками. Им не было счета.

На поле, где колония галок опустилась, она образовала сплошную черную массу, похожую на огромную лужу пролитого гудрона...

Грачи и галки. Начало местных миграций.

Научился снимать сапоги без помощи рук, одной ногой. Занимает всего три секунды...

Первый раз постирал брюки и гимнастерку.

Чтобы быть ближе к земле, достаточно просто на нее опуститься, сесть или лечь. Тогда отчетливо будут различаться травинки, камешки, потрескавшиеся корочки засохшей глины, будет видно, как перекатываются песчинки и струятся ручейки пыли.

А ведь с высоты своего человеческого роста мы землю не видим, чтобы лечь на нее, у нас не хватает времени или мы элементарно боимся испачкаться.

Предки наши были ближе к земле, они ее пахали. А еще более далекие ходили по ней на четвереньках.

Но не хочется, чтобы тебя называли просто средством труда. Пусть даже это и приобщает тебя ко всему трудовому народу.

Галки в сентябре летели каждое утро. Устало выгребая против ветра, они тянулись над нами долго и непрерывно. Садились всегда на бугре за городком на одном и том же месте.

Когда мы шли на завтрак, их уже не было.

С вопросом о гордости

Товарищ майор, напрасно вы все это говорите. Ведь вы потом не будете передо мной извиняться, самолюбие не позволит. Так лучше сразу не унижайте меня сейчас, чтобы потом вас не мучила совесть.

Не брал я часов.

Он даже вспотел от волнения. Снял пилотку и положил ее на прилавок.

– Еще одну пачку «Беломора».

Сверхсрочник все не уходил. Будто специально ждал, что будет дальше.

– Три коробка спичек. Так. Еще два.

Продавец отщелкала еще две копейки.

Не уходить же из-за него пустым.

– Две бутылки «Российской», — выпалил он и, быстро засунув сдачу в карман и опустив туда же бутылки, вышел из магазина.

– Пилотку забыл! — крикнула продавец.

Пришлось вернуться. Сержант-сверхсрочник только улыбнулся.

Мне было тяжело рвать в туалете письмо от матери. Оно было обыкновенное, глупое, наивное. Но из-за этой наивности и было тяжело.

Бестужев на допросе сказал: «Честь я почитаю превыше присяги».

«Северная повесть», Паустовский

Старшина: «У меня племянник на китайской границе одно ранение получил, теперь еще одно. Вот уже демобилизоваться должен, но задерживают. А через дом похоронная пришла».

И до чего же гадко бывает на душе иногда. И гадко и бессмысленно.

Холим — мужское имя, Позель — женское. Красивые имена (татарские)...

Она написала ему: «Извини, что отнимала у тебя твое драгоценное время».

Разговоры за чисткой картофеля.

Я разделил масло, положил свою порцию на кусок хлеба, остальное отдал ребятам. Кольке достался маленький кусочек.

– Ну, ты и разделил, — сказал он мне.

– Сам бы попробовал, масло-то талое, не режется.

– Так я и смотрю, какой у меня кусок, и какой у тебя.

– Да на, возьми, — сунул я ему хлеб с маслом.

– Да ладно уж, не надо, — вернул Колька мне его обратно.

– Нет уж, ты возьми!

– Да не надо!

– Володька, это же моя порция, — сказал Витька. Я посмотрел на стол: в самом деле, мой хлеб был в стороне незамеченным.

Все рассмеялись, и мы с Колькой тоже.

Менялись адресами знакомых девчонок и писали к этим девчонкам письма, начиная словами: «Здравствуй, незнакомая!»

Потом вместе читали ответы.

До исступления спорили, чей город лучше.

...Я сел на кучу тальниковых веток, привезенных для плетения внутри окопа. Тальник пах сырым песком и речкой.

Болела голова. У меня была температура. Я чувствовал, что она у меня высокая. Меж лопаток рождался островок озноба, холодом сводило кожу. Островок исчезал, потом появлялся опять. Наконец он стал расти, расти, озноб охватил лопатки и плечи, и мне стало зябко. Зазнобило всю спину, грудь, и свело кожу на затылке.

В детско-романтическом воображении

Майор: на солнце перегрелся, вот и обморок в строю.

Когда я говорил, что болею, они не верили и смеялись. Я упал в обморок, они ходили потом ко мне в санчасть и носили передачи.

Но на самом деле ни обморока, ни передач не было. Все это детский трогательный романтизм. Иногда так и хочется пожелать себе худшего, по-мальчишески выдумать что-нибудь ужасное, оправдав и подтвердив для самого себя (и для других) веру в собственную значимость и претензию на серьезное положение.

Старушка сестра в госпитале:

– Плохо?

– Ага, — сказал я.

– Ну, ничего, пройдет, — сказала она, перекрестив меня, но так, чтобы я этого не заметил. Поправила полотенце и вздохнула.

На полях

В белой, больничной, стерильной палате,
Где я валялся в жаре и поту,
Увидел забытую на халате
Газету со снимком уток на лету.
Шурша по белой бумаге крыльями...

Где ералаш, все вкривь и вкось,
Где ногу некуда поставить,
Где тростником все оплелось
И под ногами...

Туда...

Где по колено ты бредешь по тине,
Где спотыкаешься и черпаешь ботфортом грязь,
Где падаешь, и где мычишь в бессилье,
И где закуливаешь, отчаянно отmaterясь.

И где блестящая полоска плеса
Манит тебя, как детская мечта...

На тайный блеск затерянного плеса
Среди болот, рогоза, камыша...

И, чтоб, придя, кощунственно сдуплетить,
Чтоб взмыло все живое с водной глади вверх.

И кажется тогда, что нет уж радости дремучее на свете,
И нет на свете средства, чтоб так вот обнажало

каждый нерв.

Сон в больнице

Стрелял влет по больничным уткам и жаловался, что
дробь не берет. Слишком толстое стекло.

ДОМА

(Рассказ о доме, последний)

Восемнадцатое лето

Пешек

Средний арифметический вышел неважный. Обидно,
конечно, было, мог быть и получше. Вот уж алгебру, уж ее
он знает. Или историю. На экзамене «хорошо» получил,

обещали в аттестат четверку общую выставить, несмотря на то, что за год три. А не поставили. Забыли, что ли...

– Да брось ты его, — сказал Петька. — Что расстраиваться, не век же он тебе глаза мозолить будет, сдашь в институт и отделаешься.

– Вот именно, в институт нести. Неудобно людям руки давать.

– Ох, и щепетильный ты, Пеш!

– Ну, ладно, — Пешек положил аттестат в ящик стола, вытащил из кармана еще паспорт, записную книжку и тоже бросил в ящик. Пятерку он засунул во внутренний карман пиджака, а мелочь, пересчитав, ссыпал в карман брюк.

– Надо зайти купить что-нибудь, — сказал он и посмотрел, не забыл ли чего на столе.

– Ну, я готов, пошли?

– Пошли, — сказал Петька. Он закинул на одно плечо рюкзак и направился к двери.

– Подожди, нужно ещё позвонить,

– Что звонить? Они, наверное, нас давно ждут.

– Ну, тогда все. Погнали. Пстой, а ключи я взял?

– Ты как моя мама, честное слово. Копаешься...

– Все, все. Много времени?

– Шесть часов уже.

Выйдя из дома, они зашли в гастроном, купили сигарет, хотели еще пройти в дальний конец магазина за хлебом, но подошел троллейбус и они побежали на остановку.

Вышли они на площади. Славка с девчонками уже ждал их у фонтана.

Пешек, как только ребята поздоровались друг с другом, сразу потянул Славку за рукав и отвел его на несколько шагов в сторону.

– Что такое?

Пешек встал к девушкам боком, ухватился рукой за пуговицу Славкиного пиджака и нахмурил лоб, будто сился вспомнить что-то очень важное.

– Я... — начал он, собираясь сказать, но не сразу нашел, что именно, и покраснел. Он замялся, покраснел еще сильнее и отвернулся от девушек еще больше. Наконец он проговорил: — Там это... сухое вино было, но мы не успели.

– Я уже все купил, — с улыбкой произнес Славка.

– Да? — Пешек как-то сразу успокоился, и даже похоже было, что и забыл, о чем шла речь. Он стал рассматривать ногти на руках, чуть ли не забыв и про самого Славку.

Славка сделал, было, движение в сторону Петьки, который с присущей ему легкостью уже полностью освоился в новой обстановке, всюду развлекал девушек, что-то рассказывал, острил, размахивал руками и смеялся. Но Пешек встрепенулся и опять поймал Славку за рукав.

– Подожди, что взяли-то?

– Фу-ты! Ну, удочки не стали брать, положили только поставки. Возьмем на базе лодку и будем ставить.

– А грузила?

– Есть.

– А наметка?

– Тоже.

Пешек повернулся немного назад и посмотрел на девушек. Надя Кислицина, девушка из бывшего параллельного класса, дальняя, какая-то четвероюродная родственница Славки, ему всегда очень нравилась. Это была красивая, черноволосая, со слегка вздернутым носом девушка. Другая, Лена Галактионова, была их соклассницей, и он видел ее тысячу раз.

– Ну, все теперь?

– Надя документы уже подала?

– Подала. Сам спросишь. Ну, пошли?..

Пешек перестал крутить пуговицу Славкиного пиджака, и они вернулись к девушкам. Славка встал напротив них, а Пешек сбоку. Он достал сигарету, закурил, подошел вразвалочку к урне и бросил в нее спичку. Так же не спеша вернулся к ребятам и стал смотреть на фонтан.

– А это наш Пех Нахметов, — сказал Петька, избирая теперь уже его персону предметом своего

остроумия. — Турокпо крови, креол по национальности, родился в Константинополе, жил в Стамбуле, потомок старинного дворянского рода, знатный сан, гарем и наложницы, южный темперамент и душа романтика. — Петька произнес все это на одном дыхании и, пока он говорил, девушки смотрели на Пешека, а Пешек, улыбаясь, глядел вниз и носком ботинка притаптывал след женского каблука, глубоко вонзившегося в асфальт. — Витязь, приближенный самого шахмата Садата, воин и спартанец, под трубы повит, под шеломом взлелеян, с конца копья вскормлен...

— Ладно, хватит, оставь Пешека в покое, — прервал его Славка. — Сам ты Пех. Надя, это только Петька его так зовет, а на самом деле это Пешек, очень добрый парень, он тебе понравится. А этого типа, девушки, слушайте как можно меньше, а то он опять своим громкоговорителем испортит нам всю поездку. Пижон.

— «Пижон», кстати, по-французски значит «голубь», — ответил Петька.

— Вот-вот. Я же говорю... Единственное его положительное качество — это то, что его нельзя ничем обидеть, он всегда о себе умудряется сохранить высокое мнение.

— Вон наша «семерка» идет, — сказал Пешек.

— На штурм! — прокричал Петька и, схватив свой рюкзак и сумки девушек, побежал навстречу приближающемуся автобусу.

В автобус они влезли с трудом. Салон был переполнен, но все же ребятам удалось усадить девушек на предпоследнее сиденье.

— Давайте мне свой рюкзак, — сказала Надя, обращаясь к Пешеку. — Вам же неудобно.

— Ничего, ничего, — улыбнулся Пешек, благодарно посмотрев на нее, и уперся рукой в поручень, чтобы не особенно наваливаться на ее колени. Он был притиснут к Наде вплотную и теперь всем телом защищал ее от происходящих в салоне перемещений и толчков. — Вон, лучше у Петра сумку возьмите, а то он, похоже, сейчас сядет к бабушке на колени.

Петька на самом деле висел перед лицом недовольно косящейся на его спину старой женщины, и Надя оценила сцену. Пешек улыбнулся еще раз. Глаза у него блестели, весь он раскраснелся от движений и оживления.

Автобус мягко тронулся, заскрипели, судорожно забились створки дверей.

– Граждане, проходите вперед, там свободно, — проговорила кондуктор. — Освобождайте площадку. Проходите, не стойте.

Двери, наконец, захлопнулись.

– Молодежь, давайте будем рассчитывать. Не тяните, передавайте.

– Пожалуйста, пять билетов, — сказал Пешек и протянул над головами пассажиров кондуктору мелочь. Руку он держал протянутой, пока кондуктор не вложила в ладонь билеты, потом он протиснул ее к себе обратно, а билеты отдал Наде.

– Счастливые есть? — спросил Петька.

– Счастливые кончились, — ответил он. И на что намекал таким ответом, Пешек, наверное, не понял и сам.

Автобус круто подрулил к остановке и резко затормозил, качнувшись вперед всем кузовом. Дверки распахнулись, и в них ринулась толпа ребятишек. Они заполнили все ступеньки, а одному мальчишке не хватило места. Он бежал несколько метров за движущимся автобусом, выбирая, куда поставить ногу, но не нашел и отстал.

– Толька, мы тебя подождем, езжай на следующем! — крикнули ему ребята из автобуса.

– Освобождайте двери, ребята. Поднимайтесь со ступенек.

– Некуда подниматься, — сказал один мальчишка, пытаясь перешагнуть через Петькин рюкзак. Наконец он наступил Петьке на ногу, Петька подвинулся, и мальчишка встал на его место.

– Рассчитываться будем? — спросила кондуктор.

– Будем, — ответили ребята и полезли в карманы. Они возились где-то внизу, топтались по Петькиным ногам, но

кто именно там топчется, Петька разобрать не мог, потому что в такой тесноте не было видно.

— Хоть бы на одну только ногу наступали, — проворчал Петька, ни к кому конкретно не обращаясь, повиснув на верхнем поручне и не имея никакой возможности взглянуть вниз. — А то сразу вдвоем и на две.

Вышли они у водохранилища. Ребята прыгнули первыми и помогли спуститься девушкам. Автобус фыркнул и, неторопливо урча двигателем, поехал дальше, поднимая с дороги желтую проселочную пыль.

Ребята подошли к краю яра. Внизу на песчаном берегу среди омытых и отшлифованных водой пней и коряг было установлено множество палаток. Горели костры, слышался крик, смех и удары по волейбольному мячу. В воде и на берегу всюду были люди.

— Да, густовата плотность, — произнес Славка. — Может быть, пройдем дальше?

— Если там народа меньше, — сказала Лена.

— Посмотрим, вернуться никогда не поздно. Славка подхватил Надину сумку и, на правах родственных отношений, взял под руку и саму Надю. Ленину сумку взял Петька, и Лена пошла с ним рядом. Пешек пошел позади всех, неся рюкзак и палатку. Они шли поверху, по толстому слою слежавшейся хвои, которая подходила вплотную к обрыву и свисала вниз большими клочками. Они прошли с километр, и за поворотом, где был залив, палаток действительно стояло меньше.

— Ну, вот здесь и расположимся.

Ребята выбрали пологое место и стали спускаться с яра вниз.

— Вам помочь? — нагоняя Надю, спросил Пешек и предложил ей свою руку.

— Нет, спасибо, я сама, — ответила Надя, снимая туфли. Она положила туфли в сумку, которая висела на плече у Славки, и стала спускаться босиком. Пешек принял протянутую назад руку и, перехватив ею рюкзак из левой руки, быстро обогнал всех ребят, съезжая на пятках по песку.

Потом он с криком «ура» бросился вниз бегом и, разбежавшись, сумел остановиться только у самой воды.

– Так можно и без головы остаться! — крикнул ему Славка.

– Невелика потеря, — ответил Пешек и, быстро раздевшись, побежал в воду...

Берег был пологий, и Пешеку пришлось долго прыгать по мелководью, чтобы добраться до глубины. Когда вода дошла ему до груди он поплыл.

– Как он далеко уплыл, — сказала Лена. — Он, наверное, хорошо плавает?

– А что тут плавать? — сказал Петька. — Вода-то теплая, можно все море переплыть.

– Ну уж, «все море»! Того берега даже почти не видно.

– Люди Ла-Манш переплывают. Последний раз, помню, пятнадцатилетний парнишка переплыл за одиннадцать часов двадцать три минуты.

– Так-таки за одиннадцать часов двадцать три минуты? — переспросил Славка.

– Да, за одиннадцать двадцать три.

– А, может быть, за одиннадцать двадцать четыре?

– Нет, за одиннадцать двадцать три. Я хорошо знаю.

– А, может, двадцать две?

– Иди к черту!

Ребята разделелись и, побросав одежду на песке рядом с рюкзаком Пешека, тоже побежали купаться. Девушки сняли кофточки, брюки и пошли следом.

Когда Пешек подплыл к берегу. Славка с Петькой стояли около девушек и били по воде ладонями, высекая в сторону девушек резкие брызги. Лена верещала и закрывала локтями и ладонями грудь и лицо. Надя смеялась и, отвернув голову от брызг, неловко загребая рукой, тоже пыталась брызгаться в ответ. На ней был светлый купальник с красными и синими полосами. Ткань его намочила и прилипла к телу. На груди сквозь лифчик вырисовывались два круглых темных пятна сосков.

Пешек посмотрел на Надину фигуру, вышел на берег и, вытащив из кармана брюк мокрыми пальцами сигарету, закурил.

— Пешек! Что ж ты там один сидишь? Иди к нам! — крикнула Лена.

— Я уже накупался, — ответил Пешек и принялся разбирать рюкзаки.

Солнце уже стояло над горизонтом, и надо было успеть до темноты поставить палатку. Вскоре вышли из воды и ребята, они набрали дров, развели костер и начали готовить ужин. Солнце село. Наступили сумерки. От воды тянуло влагой и прохладой. Подул слабый ветерок. Луны не было, и скоро уже стало темно, лишь по всему берегу яркими огнями горели костры.

Девушки приготовили и разложили еду, Славка включил магнитофон, Петька разлил по кружкам вино.

— Ой, мне много, — сказала Надя.

— Пустяки, я знаю меру, — ответил Петька. — Я буду за вами следить.

— Ну, если положиться на вас...

— Да, во всем, я — человек надежный.

Славка с Пешекком захохотали, и Надя, глядя на них, тоже улыбнулась.

— Кто-то в этом сомневается? — спросил Петька.

— Ну, что ты! — ответил Пешек. — Как можно.

Он хотел сесть рядом со Славкой, с каким-то тайным умыслом стараясь быть подальше от Нади и вообще — от девушек, но подошла Лена и устроилась рядом с ним. Пешек некоторое время посидел, потом поднялся, сходил в палатку за сигаретами и, когда вернулся, на некоторое время задержался у магнитофона и сел с другой стороны костра. На него покосились, а Лена опустила глаза.

Пешек покраснел и поднялся.

— Ох, там же моя кружка, — сказал он и перебрался на прежнее место.

Лена сначала отказывалась от своего вина, но ее общими усилиями уговорили, Пешек сделал ей бутерброд со шпротами и, в конце концов, Лена повеселела.

После ужина все стали разговорчивыми, Петька со Славкой принялись напропалую острить, и Пешек с девушками без конца смеялись над их шутками.

Наконец встали с песка размять ноги. Надя сказала:

– Посмотрите, сколько огней, сколько костров. Прямаки факельное шествие.

Потом девушки пошли гулять по берегу, сопровождать их направился Славка, а Петька исчез в темноте за палаткой.

– А, черт! Понаставили здесь кольев, — донесся оттуда его голос.

Пешек остался один. Он посидел некоторое время, не двигаясь, потом сел поближе к костру и налил себе еще вина.

– Ладно бы тебе, — сказал появившийся сзади Петька. — И так уже хорош.

– Ты так полагаешь? — спросил Пешек. — Ты считаешь, что я пьян?

– Не пьян, так будешь.

– Да нет, Петя, я трезв... И с чего тут пьянеть? Я совершенно трезв. Посмотри, ну посмотри, я же совершенно трезв...

– Ну, ладно, трезв.

– А ты говоришь — пьян.

– Ничего я не говорю.

– Нет, говоришь. А я совершенно трезв. Я совсем не пьян. И я люблю Надю. Сейчас я приглашу ее на танго. Где у тебя тут было танго? Я помню, где-то было... А, вот. После этой зубодрибливки будет блюз. Я помню. Давай еще выпьем, и я приглашу Надю.

– Хватит тебе уже, — сказал Петька.

– Правильно, мне хватит. Вот тут ты прав. Мне действительно уже хватит. — Пешек вдруг как-то сразу притих и уставился в огонь.

Вернулись девушки и Славка. Славка заканчивал какой-то разговор про звезды. Все опять уселись у костра.

После шумной музыки на самом деле через некоторую паузу началось танго. Пешек поднялся, прибавил

громкости, потом присел на корточки около Нади и положил руку ей на плечо, а другой рукой поднес Надино запястье к своим губам и поцеловал.

– Это за что? — спросила Надя.

– Разрешите вас пригласить?

– Куда?

– На танго.

Надя посмотрела на ребят. Они молчали.

– Вы настаиваете?

– Да, настаиваю.

Надя улыбнулась и встала. Пешек отвел ее от костра и взял за талию. Танцевать было неудобно, ноги вязли в песке. Но, даже запнувшись несколько раз, Пешек не сдавался. Он перестал делать переходы, а только стоял на месте и переступал с ноги на ногу. Когда музыка кончилась, Пешек проводил Надю к костру, а сам отошел в сторону и встал, скрестив руки на груди.

– Я, наверное, в строительный пойду, — говорил Славка, продолжая начатый без Пешека разговор. — Да, собственно, и не наверное — я уже документы подал.

– А я вообще поступать не буду. Я в армию хочу, — сказал Пешек. Он налил себе вина в кружку и выпил. Никто ему не ответил. Потом он лег у костра на песок, положил голову на локоть и очень быстро и неожиданно уснул.

– Что-то он сегодня у нас переусердствовал, — сказал Славка. — Вы уж, девушки, простите его.

– Да чего уж, он волен делать, как ему хочется, — сказала Надя.

– Нет, Надя, ты слишком строго судишь. Он на самом деле делает подчас лишнее, но только потому, что он какой-то нервный и мнительный, — начал защищать его Петька.

– Он вообще у нас как ребенок, разве это не видно? — сказал Славка.

– Детский сад для этого есть, — упрямо возразила Надя.

– Ребята, давайте уложим его спать, — предложила Лена, — а то ему тут неудобно.

Ребята отвели Пешека в палатку и положили на одеяло. Пешек проснулся, но ничего толком не понял. Его укрыли, и он снова заснул.

Ребята еще некоторое время разговаривали у костра. Костер догорал, дров уже не было, и лень было за ними идти. Ребята дождались, когда от костра останутся одни красные угли, а потом все отправились спать. Палатка была двухместная, и спать предстояло в тесноте.

— Зато тепло будет, — сказал Славка. Пешека пододвинули к самому краю палатки, Славка лег рядом с ним, Петька — у противоположной стенки. Между ребятами устроились и девушки. Славка вытянул руку, и Надя положила на нее голову. Они лежали лицом друг к другу. Славке нужно было куда-то устроить второю руку, он положил сначала ее себе на бедро, но так было неудобно. Тогда он переложил ее к Наде на талию и замер. Надя не двинулась. Она притворилась спящей. Лицо ее было рядом со Славкиным, и Славка притронулся к нему губами, потом обнял Надю и прижал к себе.

— Не надо, — сказала она.

Но Славка не слушал. Он чувствовал под кофточкой ее грудь и все сильнее прижимал Надю к себе. Потом приподнял ее голову в своих ладонях и поцеловал. Надина рука замерла на его плече. Она не отстранилась, но и не ответила на поцелуй. Когда Славка отпустил ее голову, она повернулась на другой бок спиной к Славке.

— Надя... — прошептал он.

— Спи, Славик, — ответила она.

Славка стал перебирать ее волосы и целовать в шею. Надя не двигалась. Потом, крепко обняв Надю и прижавшись к ее спине, Славка уснул.

Первым проснулся Пешек. У него болела голова, хотелось пить. Он вылез из палатки и пошел босиком к морю. Было еще рано и, кроме Пешека, на берегу не было никаких следов. Солнце одиноко стояло над горизонтом. Было тихо, прозрачно и тепло. Вода медленно накатывалась на песок и так же медленно, со слабым плеском уходила обратно. Пешек умылся, зачерпнул ладонями воды

и сделал несколько глотков. Потом отломил от гладкого, отполированного водой пня несколько сухих корней и вернулся к палатке. Когда он развел костер, щуря глаза, из палатки вылезла Надя.

– Доброе утро, — сказала она.

– Здравсьте, — ответил Пешек и, поднявшись с колен, пошел по берегу собирать дрова. Надя посмотрела по сторонам и стала забираться наверх, на яр. Когда она вернулась, Пешек сидел у костра и смотрел в котелок, над которым уже поднимался пар.

– Как красиво! Правда? — сказала Надя.

– Ага, — ответил Пешек.

– Что ты такой хмурый? — спросила Надя и села рядом.

– Да так, голова болит, — он покосился на ее намокшие от росы туфли.

– Ты такой смешной был вчера. — Надя подтянула ноги поближе к себе и, положив голову на колени, посмотрела снизу Пешеку в лицо. Пешек улыбнулся:

– Да уж, смешной...

– Скажи, «Пешек» — это правда мусульманское имя?

– Какое мусульманское, это Петьке так хочется... Польское, у меня отец поляк.

Надя все смотрела на него снизу.

– Красивое имя. — Она помолчала. — А что так рано поднялся?

– Привычка, не могу долго спать, когда выезжаю куда-нибудь. — Пешек подбросил в огонь сухую толстую ветку.

– Это ты чай кипятишь?

– Нет, надо сначала картошку сварить.

– Давай я почищу.

– Я вообще-то хотел в мундире, так проще.

– Чистить не намного трудней, — Надя взяла из его рук нож.

Из палатки послышались голоса, а потом появились зашпанные физиономии ребят. Славка потянулся, посмотрел на море, расправил плечи и, заорав что-то нечленораздельное, побежал в воду купаться. Петька и Лена побежали за ним следом.

Ребята пробыли на море еще целый день и ночь. Они загорали, купались, играли в волейбол. Ночью Пешек с Надей долго гуляли по берегу, смотрели на костры. Под конец, у палатки, они поцеловались.

А утром на следующий день ребята собрались и, пройдя два километра до железной дороги, уехали в город.

* * *

От лица взрослого человека (мнение воображаемого рецензента)

Возвращаясь к рассуждениям главного героя о смысле жизни, хочу, пользуясь случаем, лишь сказать: а не являются ли все эти бесконечные поиски смысла человеческого на земле существованием следствием неустроенности данного конкретного человека в жизни — скажем, следствием его невезучести, каких-то личных моментов?.. Не происходят ли все эти острые, «благородные», «возвышенные» переживания от чисто внутренних, субъективных причин, от низкой у таких людей самооценки, от чувства ущербности, неполноценности...

Я это потому так говорю, что, в общем-то, люди, нормально включенные в общий порядок вещей, занимающие определенное место в жизни общества и, исходя из своих запросов, имеющие цель своей собственной жизни, подобными, абстрактными, «мучительными» вопросами редко задаются...

От лица самого героя

Хорошо курится на улице в тихую погоду, когда ветер не срывает дым прямо у тебя с губ, а когда ты имеешь возможность выпустить густое облачко дыма и, повисшее в воздухе и медленно расплывающееся, отогнать от лица, дунув в него последующей струей дыма.

Я смотрел в открытое окно казармы. Небо было серым и блестящим, налетел суматошный ветер и начал раскачивать толстые ветви деревьев. Листья стали громко шелестеть и беспорядочно метаться, показывая свою светлую изнанку. Еще не дав утихнуть ветру, полил дождь. Ветер задувал его в окно, и мне пришлось слезть с подоконника. Над тополями под дождем с большой скоростью продолжали проноситься голуби.

Ветер и дождь исчезли внезапно. Стало спокойно и тихо. Только иногда по небу еще прокатывался гром, и с крыш с журчаньем лилась на землю вода. Небо и все вокруг светились искусственным белесым блеском.

Детант²

Деревья во всех странах разные, а листья от ветра везде шелестят одинаково.

Кислый вкус саратовской «Примы»...

Когда я приехал из госпиталя, я вдруг с особым уважением начал относиться к ребятам. Они стали опытнее меня, изменились, начали более легко и естественно, чем я, выполнять свои обязанности. У них шла своя жизнь, свое развитие, новые отношения, а я был отлучен от них на две недели.

Сегодня вышел на улицу в личное время и в первый раз за все время здесь подумал, что я — дома. Я дошел до туалета, потом помыл руки из бачка с водой летнего умывальника, покурил, сидя в курилке и слушая репродуктор. Пела Лили Иванова...

Встал по подъему, оделся. Пока стояли в строю и ждали опаздывающих, завел часы.

Было еще довольно темно. Только светало. Над казармами огромной черной тучей летели галки. Они шли на юго-восток.

² Так называли в газетах новые, зарождавшиеся взаимоотношения между государствами, тогда характеризовавшиеся отсутствием холодной войны и разрядкой.

Я некоторое время стоял, задрал голову и провожая стаю глазами. Потом нас повели на поверку. Затем за-рядка. На асфальте лежало непривычно много желтых листьев, они шуршали под сапогами.

Мы пробежали два круга. Росы не было. Воздух был сухой и теплый. В лицо попало несколько редких капель, но дождя не состоялось.

На спортплощадке мы застали зарю.

Вернулись в казарму. Чтобы успеть занять розетку, быстро взял электробритву и побежал в бытовую. Побрился, выдернул из ноздри волосок. Потом заправил койку, разгладил табуреткой одеяло, подбил края, навел стрелки. Достал из тумбочки «Асидол», взболтал бутылек и почистил пряжку. Обмахнул на улице сапоги. И, когда уже в умывальной стало мало народа, занял место у крана с водой. Долго плескался холодной водой, чистил зубы, стараясь в то же время не забрызгать вычищенные сапоги. Когда дневальный прокричал построение, влез в гимнастерку, причесался и, застегиваясь на ходу, побежал на улицу.

Пока шел утренний осмотр, подстриг ногти, срезал заусенцы. Ножницы дал соседу, а, когда получил обратно, спрятал их в нагрудный карман.

Потом нас повели на завтрак. Солнце уже стояло над деревьями. После завтрака сидел с ребятами в курилке. Курил. Витька рассказал смешной анекдот. Мы хохотали до упаду.

Сначала на меня убийственно действовало то, что под гимнастерку надевается одна майка... Кактак — получается, как пиджак на голое тело.

«Рота, отбой!» — и замелькали меж коек белые кальсоны, и через несколько секунд стало тихо.

Мы собирали окурки, потрошили их, добавляли вытряхнутый из карманов сигаретный табак и крутили самокрутки.

Если трава сырая, можно сесть на пилотку; если холодно, можно, развернув, натянуть ее на уши.

В жару портянки в конце недели стояли колом. Мы их не вешали, мы их ставили...

Какого этого ты тут делаешь?

Чтобы у тебя на лбу что-нибудь выросло!

У, бляха, иди отсюда!

Фу-ты, блин...

Глаз не эта, проморгается...

Мат имеет свою неповторимую прелесть. Любую мысль, любой степени гениальности, можно выразить одной или двумя производными или формообразованиями. Не было бы только в нем этого единственного, до жути откровенного и убийственного слова, так до предела упрощающего отношения между женщиной и женщиной...

Что может еще точнее передать слово «блаженство», как не свинья в грязи...

Я уже настолько привык здесь, что иногда начинаю думать, что армия парню необходима. Действительно, как жизненная школа, как опыт...

Было холодно. Вечером вокруг луны вырисовывался большой и бледный, чуть радужный круг. Кольцо из дымки с отчетливо видимой внутренней линией и расплывчатой границей. Что, интересно, на другой день будет?

На другой день было 0 градусов тепла. Окна запотели.

В армии стоит побывать хотя бы за тем, чтобы оценить ее по достоинству. И, кстати, мучительные поиски смысла жизни тут как-то сами собой исчезают бесследно...

Ху-ху не хо-хо?

У сержанта-сверхсрочника, когда он принимает рапорт, лицо становится похожим на мордочку мурлыкающего котенка. Он косит глазами в сторону докладывающего,

удовлетворенно жмурится, медленно закрывая глаза и некоторое время не открывая их.

Старшина: месячно на улице. По утрам теперь подмораживает.

2 октября

Со вчерашнего вечера стоит туман. Он густо опутал весь городок. Утром под деревьями стояли лужи, листья были сырые, как после дождя, туман оставлял на них свою влагу. Появлялись над головой и опять исчезали в тумане темные силуэты грачей. Солнце стояло уже высоко, но все равно было сумрачно. От солнца виден один только бледный диск. Туманом залиты все закоулки, кюветы, овраги, на траве и колючей проволоке, ограждающей аэродром, висят капли росы.

...Пришел с наряда мой верхний сосед. Он полез на второй ярус укладываться спать. Койка заскрипела, заходила ходуном.

— Да тише ты! — сказал я.

Сосед свесил ко мне сверху голову...

Я за всю жизнь, наверное, всего книг десять прочел. Дома даже думали, что я читать не умею. Отец один раз специально газету подсунул, очки будто бы потерял...

У поздней осени свой аромат. Вроде она ничем и не пахнет, только свежестью, но почему-то хочется дышать полной грудью.

Я снимал обтекатель со стабилизатора, он довольно высоко, пришлось залезть на стремянку. Меня обдувал ветер. Светило солнце. Видимость хорошая, воздух прозрачный, и с высоты далеко видно степь. Тихо, спокойно. Работал я медленно, с перерывами, часто глядя вдаль, на голубей, летающих над землей.

Андрей для меня теперь как та музыка, которую когда-то слышал в счастливой обстановке. Музыка осталась, а то, остальное счастье навсегда потеряно...

Дома, по-видимому, уже так же холодно. Свиристели, наверное, уже прилетели. Сидят, поди, на ранетках и крошат на землю розовую яблочную мякоть.

Пустяки, делать нечего, что два пальца обо...

Восемь классов образования. Механик самолета. Вырос в степной деревне. На вопрос: «Почему в степи деревьев нет?» отвечает:

– Не посадили.

– Ну, а как тогда тайга на Севере, откуда вообще леса берутся?

– Люди садят...

Слепой дождь.

Очень мелкий и частый. Солнце между туч. Тучи светлые. Видно косой и сверкающий полет капель на фоне солнца.

Моросил дождь. Лужи звенели от множества мелких капель, как маленькие колокольчики.

Мальчишка посмотрел на меня и левой рукой отдал мне честь.

День очень пасмурный и сырой. 0°. Идет утка. Восемнадцатое октября.

К концу службы в армии становится легче, наверное, потому, что человек начинает чувствовать себя здесь хозяином. Взамен лишениям это доставляет определенную радость и приглушает тоску.

Выпускные экзамены. Конец учебы. Младший специалист.

И — опять переезд. Новый этап. Механик группы авиаоборудования...

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Часть четвертая
Дневник солдата
(продолжение)

СТАРИКИ

...Я салага, серый гусь
...клянусь
Сахар, масло отдавать...

И не потому было страшно, что побьют — до этого могло и не дойти — но унижат, и я к ним не смогу уже после этого хорошо относиться, естественно, натурально — не смогу. Всегда уже будет между нами какой-то позор, какой-то момент, из-за которого нельзя будет взглянуть друг другу в глаза, попросту поздороваться. Почему-то именно то, что потеряется возможность наших с ними в будущем хороших отношений, и казалось мне самым ужасным.

И от одного предчувствия, ожидания, что это может случиться, мне стало душно, невыносимо с ними. Вспору было бежать куда-нибудь. (Но в том-то и дело, что в армии никуда не убежишь.) Я постоянно чувствовал на себе их глаза, чувствовал, что старики следят за мной, ждут ошибок, контролируют, насколько быстро я все делаю. Мне стало казаться, что я не имею права смеяться над тем, над чем смеются они, смеяться вместе с ними, поступать так, как поступают они. Казалось, что они все могут истолковать как покушение на их авторитет и привилегированное положение... Всего раз я погладил одному из стариков мундир... Я ушел в себя. Отводил глаза, когда встречался с ними взглядом, старался не вступать с ними в разговор и, когда находился рядом с кем-нибудь, это меня угнетало, и я тихо отходил в сторону. Курить я привык в туалете: курилка располагает к разговору. А, придя в казарму, сразу утыкался в книгу.

Я чувствовал облегчение, уходя в наряд...

Вот познакомлюсь с ними поближе, тогда они узнают, какой я веселый с друзьями...

Но они не позволяли нам и этого...

* * *

Знаете, как мало надо солдату, чтобы почувствовать себя счастливым?.. Транзистор ночью. Когда все начальство уже ушло домой, кто-то включил в постели приемник, и уже забытые, в которые уже и не веришь — были ли они вообще когда-то в твоей жизни — ритмы заполнили темноту и тишину.

ТА ПЕСНЯ

Детант

Когда-нибудь в будущем, когда наконец за ненадобностью будут распущены вооруженные силы, когда распадутся военные блоки и союзы, и ООН станет заниматься лишь одними демографическими и экологическими проблемами, проблемами охраны природы и памятников старины, когда начнут постепенно забываться все военно-технические средства, военные термины, военные игры, военно-спортивный комплекс и ГТО, не один отец в эту новую эпоху, успевший в свое время послужить, при взгляде на подрастающее поколение скажет:

– Какую потеряли школу! Какая-то она теперь, без армии, будет — жизнь?..

И скажет о мужественности и выносливости, о ловкости, о дисциплинированности, о житейском опыте и, наконец, о том, что всем этим люди были обязаны уставу и строевой подготовке. И в чем-то, наверное, будет прав.

– А армейские песни... Какие исчезли песни!.. «Дан приказ», «Солдаты, в путь»...

Кстати, вот, о песнях.

Петь песни было стыдно. И поначалу озверевшему сержанту приходилось долгое время бегать вокруг строя, грозить, размахивать руками, краснеть и, срывая голос,

много раз подряд безуспешно выкрикивать команду «запевай», пока кто-нибудь в первых рядах строя все же не начинал вымученным голосом, не в такт и не в ногу, «Катюшу». И только после этого невнятно и нерешительно запевало еще несколько человек. И проходили дни и дни, перед тем, как песня овладевала всеми. И вот, уже когда начинали петь все, песня быстро и незаметно становилась привычной. Уже через месяц ловили себя на том, что поем с удовольствием и, стыдливо оправдываясь, спешили подтрунить сами над собой в письмах оставшимся дома друзьям-студентам:

«Иногда спохватишься, взглянешь на себя со стороны, вашими глазами, увидишь, как вышагиваешь здесь в строю по плацу и орешь во всю глотку песню, и становишься смешно. И смеешься над собой за вас и вместе с вами».

Так писали, а сами в это время ходить строем без песни уже не могли и запевали всегда сразу, не сговариваясь, вдруг разом все, без всякого приказа сержанта.

Это о строевой песне.

О песнях эстрадных, о новых зарубежных шлягерах, появившихся на магнитофонах уже без нас, мы узнавали, в основном, через радиохулиганов. В том маленьком городке, где я служил, таких была масса. Только на средних волнах в районе двухсот метров работало человек шесть или семь. Была даже одна девушка, с позывным станции «Татьяна». Хулиганам мы были благодарны и слушали их каждый день после обеда до тех пор, пока не пришел приказ о запрещении в армии коротковолновых транзисторных приемников.

А эту песню я услышал по телевизору. Ее исполняла на одном из Сопотских фестивалей польская певица. Она там заняла третье место, а песня ее обошла весь мир. Несколько позже эту песню можно было услышать всюду: в туристических походах, на концертах, по радио, на танцплощадках, в кино...

Но первый раз я ее услышал в армии, в полном нарушении уставного распорядка дня, на свой страх и риск и тайно от дежурного по полку смотря с несколькими пар-

нями из нашего взвода поздно ночью трансляцию из Сойота по Интервидению. Исполнительница была молодая красивая девушка, удивительная и до тоски такая далекая для нас тогда, в своей раскрепощенности и свободе жеста, боконогая, в длинном платье, с длинными черными волосами и огромными кольцами в ушах. Пела она под аккомпанемент двух хиппиобразных, в темных очках гитаристов. Пела она превосходно. Зал ревел и неистовствовал.

Но что есть песня? Что вообще есть — песня? Всего одна музыкальная фраза, один мотив да, в данном случае чужие, не переведенные тогда еще на русский язык, слова. Но она, эта песня, до сих пор рождает во мне массу воспоминаний и щемящей грусти и, где бы она теперь, штатского, меня не заставляла — дома, на улице, с товарищами, одного — она всегда заставляет меня остановиться и прослушать ее до конца. Та песня...

И точно так же достаточно мне сейчас увидеть на улице города армейский патруль, или колонну стриженных наголо новобранцев, или строй солдат, шагающий в баню в сопровождении старшины, или услышать барабан — и я весь преисполняюсь задумчивостью и нежностью, и не могу не оглянуться, не проводить строй глазами, не вспомнить, не вздохнуть.

Это тоже как песня.

И недаром каждому, случайно обратившемуся к тебе солдату, ты всегда рад помочь найти нужную улицу, добавить на билет в кино двадцать копеек, сказать точное время или, на худой конец, просто дать ему закурить...

Дневник

Я даже по казарме ходить стал тише и чувствовал облегчение, уходя куда-нибудь в наряд. Стало казаться, что им не нравится, что я слишком прямо смотрю им в глаза, и я стал прятать взгляд. Я старался избежать любой зацепки, любого упоминания, намека, повода... Я даже думать об ЭТОМ не мог. Я прилагал все силы, чтобы остаться в стороне, забыть, исключить из памяти, как будто этого не было, не существует.

Даже тот поглаженный мундир и принесенные из сушилки сапоги я заставлял себя считать за дружескую услугу. Иначе я бы не смог это вынести, до того это было отвратительно.

В отношении такого явления, как старики... Тут все зависит от самого человека.³ Главное — это как себя поставишь. Вот я, например, в армии сапоги не приносил и не чистил. Старики сразу понимают, вот этот сапоги чистить не будет. И уже не заставляют...

И главное, ты ничего не можешь изменить. Так было, так будет, и убийственно то, что ты — песчинка перед этим грубым механизмом армейской жизни, казарменным бытием, перед дикой, стихийной, не управляемой природой, захлестывающей, захватывающей и тебя.

Левое основное колесо увязло в грязи, и мы, толкая самолет в крыло, под надсадный вой турбины его реактивного двигателя помогли ему выбраться на сухое место.

Разница во времени с Москвой здесь один час. Солдаты живут по-московскому. Они единственные в городе не обращают внимания на время местное. Этим они как бы подчеркивают свое временное здесь пребывание.

Дурачились, боролись. Не помню, как получилось, но он мне вывернул руку и, когда я упал и перестал двигаться, без всякой уже надобности подержал руку вывернутой, заламливая все сильнее. У меня помутилось в глазах. Когда он отпустил, я, обозленный болью, с пола ударил его ногой. Попал в живот. Он вновь набросился на меня, но нас разняли. Разошлись злые.

Часа через два мне пришла в голову мысль, что нужно извиниться. Я, собственно, не находил основательной причины для этого, я все еще был зол и считал его

³ Представлена иная точка зрения. Демобилизованного солдата, служившего в том же подразделении.

виноватым. Но мысль неотвязно преследовала меня и провоцировала именно тем, что нежелательна.

Наконец я пересилил себя и подошел к нему.

– Вот что... ты меня извини, Сашка, мне самому неприятно.

– Да ладно, чего там, — он улыбнулся и отвернулся в сторону.

Но мне доставило удовольствие то, что я себя переборол, что доставил человеку радость, что, смилив гордость, восстановил истину.

В армии нет женщин, и не перед кем себя сдерживать. Поэтому полное раздолье для грубости.

Земля после заморозка оттаяла, стала липнуть к сапогам, на жухлой траве — капельки воды, воздух влажный и отсыревший. Когда запустили двигатель, то по всей длине самолета под фюзеляжем, где жадно подсасывался к соплу воздух, образовались на траве крупные гроздья изморози.

Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем.

Нет в армии равенства между солдатами и офицерами. Взять хотя бы разные столовые...

«Думает, если у него погон звездочками усыпан, так ему все можно...»

Дым от сигареты тянулся вялой струйкой, которая завивалась, завязывалась, расплзалась клочками.

Чтобы бросить курить, стриг ногти в табак и курил самокрутки, стоя на всякий случай у раковины, морщась и сплевывая после каждой затяжки.

– Во рту будто рог коровий сожгли.

Скоро тебе придет пи...сьмо!

Он еще не понял службы.

Когда солдату делать нечего, он бляху чистит.

В мире мудрых мыслей

Куда торопишься?

Служба-то срочная.
Солдат спит, служба идет.
Работа не волк, в лес не убежит.
Тише едешь, дальше будешь.
От работы кони дохнут.
Работа дураков любит.
Труд не для того создал из обезьяны человека, чтобы
потом превратить его в лошадь.
Если хочешь поработать — ляг поспи, и все пройдет.

Письмо

И была ночь. Было утро. День четыреста шестьдесят девятый. На завтрак, кажется, давали перловую кашу. Еще хорошо помню — моя порция масла на пол упала. Пришлось соскребать грязь ложкой. Помнится, еще обидно стало, так как кусок в четверть тоньше сделался. Собственно, и аппетита-то не было, а обидно стало так, из привычки, да и поворчать тема нашлась.

Ну, ладно, утро как утро. Потом старшина пришел, тоже все нормально стало. День как день.

Потом ушел старшина на обед. Курить сели. Передохнули.

Потом построили нас, повели в столовую. Тоськины щи опять были, хоть рот полощи. Кисель тоже жидкий попался. Поговорили о поварихе. Вспомнили все о ней. И про нее. Под конец даже развеселились.

Старшины не было часа два. Вздремнули. Когда газеты приносили, я не заметил и обнаружил их уже подшитыми в бытовке. Там дежурный сидел. Решил поискать газету в казарме. У себя в тумбочке и нашел. Обрывок. Хватило.

На ужин выпросил себе добавку картошки. Удивительно хорошо сделалось. Даже что-то большее почувствовал, что-то вроде как бы даже разволновался. Что-то там захотелось, замечталось, замурлыкалось... В кино ходил. Бесплатное. В честь субботы оно прошло ничего, под настроение еще.

Спать легли. Вспомнил, что хотелось ведь чего-то вечером. Но капитально забыл — чего. Ну, да горе небольшое. Уснул...

А, нет! Вспомнил-таки потом. Через полчаса где-то. Встал. Дошел до вешалки, взял шинель, лег и укрылся ею поверх одеяла. И на этот раз уже заснул спокойно.

И была ночь, было утро. День четыреста семидесятый. И еще двести шестьдесят три оставалось...

«У нас в ШМАСе⁴ комендант как поймает девчонок на территории части, так полы мыть заставляет».

Если ты меня пересмотришь, пойдешь провожать (этакий прием, до бесцеремонности).

Вопрос на лекции по коммунизму... А при коммунизме будет армия? И какие в ней будут отношения, тоже коммунистические? Ведь, если будет опять армейская дисциплина, то не будет и во всей стране коммунизма...

И что больше всего меня возмущает, это то, что один другому может приказывать и что не существует ответа: «Ваше приказание не выполнено».

В чужой руке ломоть всегда больше кажется.

«Безвыходных положений не бывает», — любят повторять люди, оказавшись в безвыходном положении.

Тема

Его (звать Игорем) третируют старики. (Не особенно в воспитательных целях, но все равно это гадко, пошло.) Ему невыносимо с ними.

Замечает симпатичного парня из другого взвода. Парашютоукладчик, из центра, из Москвы. Служит на полгода больше Игоря. Не старик, но и не молодой. Как-то тот парень увидел, что Игорь сидит в казарме и читает. Подошел, посмотрел у него книгу: «В библиотеке взял? Неплохо». Игорю он симпатичен до крайности, он в него

⁴ Школа младших армейских специалистов

влюбляется. Стеснительность, радость от одного только взгляда на него.

Затем казус в столовой. Игорь замечает такое, что не хотелось бы видеть, он переживает, но потом выправляется, старается забыть. Чуть-чуть сходятся. Игорь в восторге. Потом свой старик посылает Игоря чистить ему сапоги. Игорь чистит и чувствует на спине своей взгляд. Оборачивается — тот парень. Игорь заливается краской. «Ну и пусть, — думает он. — Ну и пусть. И один буду, и ничего не случится...»

Старики спорят между собой, побрить молодого наголо за проступок или нет.

Со сроком службы — год: угостил конфетой старика, а Игорю, что служит полгода и который рядом был, не дал.

Игорь уходит в себя, углубляется в книги и остается один. Перед этим имеет разговор со стариком (после сапог!): наотрез отказывается идти за сапогами в сушилку.

«Сегодня после отбоя зайдешь в каптерку». Но из каптерки отсылают спать, ничего нет, и можно было бы торжествовать и успокоиться, но все равно на душе у Игоря горько, гадко и пакостно, и он долго не может заснуть.

Масла давали мало, в наряд — через день, зимой босиком по снегу заставляли в столовую за чаем бегать, били. А мы просто воспитываем. «Тюнин, ко мне!» Не идет. Опять повторяем: «Ко мне, Тюнин». Чтоб понял...

Но и «хорошему» старику хочется легче жить, поэтому просит (просит!) молодого стоять за него смену дневального. Молодому неудобно отказаться — как же «старик» просит! — и он стоит.

Или дело обстоит так: сладок сон солдата, и так не хочется ночью вставать и, когда на твоей стороне большинство в роте, уже сложившийся коллектив, а будит тебя какой-то одинокий, без роду и племени пришлый молодой, то, даже если ты никогда и не проявлял свою власть старослужащего, здесь тебя так и подмывает ею воспользоваться.

Игорь разбудил смену и так попозже, чтобы лишнее поспали, но те заставили стоять всю ночь.

Я лег в постель и позволил себе помечтать перед сном. И в предвкушении сладостных мыслей меня сразу охватила радость. Я погрузился в истому, в грезы и, когда мне стало совсем хорошо и легко, я заснул.

Я начал думать, какая у меня дома будет машина, и куда я на ней буду ездить. Какие у меня дома будут бокалы, и сколько комнат мне нужно.

Куда я съезжу на охоту...

Когда человеку хорошо, он думает, когда плохо — мечтает...

Раньше я стеснялся всего, что связано с вещами и словом «мещанство», теперь все время провожу в мечтах на эту тему, и уже начал считать, что слово «мещанин» — это просто бранное слово, пустое, которое не стоит воспринимать всерьез, абсолютно бессодержательное, точному определению не поддающееся, потому что трудно выяснить: а кто же такие не мещане, и существуют ли они вообще; все мы мещане понемногу, все мы любим быт, вещи в той или иной степени, а людей, чуждых удобств и всего материального совершенно, то есть абсолютных не мещан, не существует. И, сдается мне, люди выдумали это слово специально лишь для того, чтобы можно было попрекать друг друга, попрекать одним других за наличие у этих других вещей и уюта, еще пока отсутствующего у первых.

Из письма

А вы, не мещане, прочтя мое письмо, пойдете кушать маринованные грибки и пить из тонконогих рюмочек чистую, как слеза, пахнущую анисовым семенем водку.

«Ты сейчас телевизор смотришь», — написал он.

Тема

А тот человек, который считает, что мещанство — это жизнь для себя, и который сам всю жизнь живет для

других, чаще всего, прикрываясь этой формулировкой, и ведет жизнь обыкновенного мещанина. Он не осуществил своих, личных, дерзостных юношеских желаний. А была-то мечта: синтез белка. Искусственный хлеб. Это же решение всех проблем, переворот в человеческой природе, отсутствие пахотных земель, сельского хозяйства, переворот в мировоззрении... А его заставили работать на этом заводе, своей лучезарной цели он не достиг, не достиг из-за других, из-за нужд общества — хлеб, результат нам нужен сейчас — пожертвовав ради него своими мечтами. Но — работает. Так надо. Работает для людей, выполняет насущные требования, предъявленные ему обществом. Но в то же время имеет дома цветной телевизор, жену, ребятшек, мягкую тахту, финскую мебель, любит после работы пить чай и, развалившись в кресле, спокойно читать газету.

И говорит: «Не всегда же выходит, как хочешь, чаще всего в жизни приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно...»

Девушки, с которыми солдаты знакомятся по письмам, называются заочницы.

А когда ему предоставили возможность осуществить свою юношескую мечту и предложили, пятидесятилетнему, место и работу, он отказался, сославшись на то, что уже поздно...

Старший лейтенант Еморлуков, молодой офицер, летчик-инструктор, когда с кем-нибудь разговаривает, все время нервно кусает губы. И, когда он особенно возбужден, то кусать начинает интенсивнее, и уже не только губы, но даже щеку.

Она, как дворовая бездомная дворняжка, не знающая ласки, воспримет и трепку — как нежность...

Старик разговорился, разоткровенничался со мной, дневальным у тумбочки, после самоволки ночью, потому что провел ее с женщиной. «Странно», — подумал я, удивившись простоте и дружественности этого разговора. А утром поторопился заправить без его слов ему

постель, поторопился заправить сам, чтобы ему в голову не пришло после нашего с ним ночного разговора заставить меня сделать это...

И, главное, захватить чужие сапоги вместе со своими, если кто попросит, ничего не стоит. Ты даже рад сделать человеку доброе дело. Но в том-то все и заключается, что сам ты доброе дело делать не можешь. В этом тебе отказано. Ты просто обязан. И потому, если делаешь сам, то уже считаешь себя и подлецом, и трусом...

Господи, неужели людям за столь долгие годы не надоело воевать! Ведь всего триста мирных лет за всю историю человечества...

Из солдат стараются изгнать все ребяческое. Солдату нужна взрослость. Но в юноше восемнадцати лет так много детского.

Стоит в строю и щелкает впереди стоящего по ушам. И так же может стоять и на строевом смотре, и у знамени...

– Дневальный, делай ночь!

– Отбой! — И остается гореть одна красная лампочка дежурного освещения.

Что бы я делал, если бы у меня не было книг?..

Широко улыбаясь, он протискивался меж коек, чтобы сильнее ударить.

– Тесно, — говорит он, — размахнуться негде.

Он спал с мученическим выражением лица. И все лицо у него такое детское, обиженное, что похож на котенка, у которого еще не прорезались глазки.

Заносчивые десятиклассники были похожи на рассерженных и вечно чем-то недовольных котят.

«Сурова жизнь, коль молодость в шинели, и юность перетянута ремнем».

(Из записной книжки солдата, куда записывается понравившееся про службу, дружбу и любовь)

Воскресенье, 28 декабря

Сегодня ходили кататься на лыжах, старики и мы. И так весело было, так хорошо, снег, горки, лыжня и равенство полное, и натянутости нет, как будто и не в армии.

...В заснеженном поле аппетитно пахло картошкой. Видимо, оставленный под снегом картофель прел.

Томик стихов

Я читал стихи, сидя на улице. Хорошие стихи. И, то ли от холода, то ли от чего-то другого по спине у меня пробежал мороз.

Инженер, служить которому всего год после института

И, как только я понял, что в армии ненадолго, я сразу стал терпимее и уступчивее. Те же, кто служил полностью два года, цеплялись за все побрякушки, выгоды и все мизерные благоприятные условия жизни с великой жадностью. И тем более — за стариковство.

Добавление⁵

Надо оговориться сразу: стариков за издевательство, самодурство, а тем более за рукоприкладство в армии наказывают очень строго, за ерунду — трибунал, и до пяти лет. Но ведь всегда находятся обходные и окольные пути. И даже в мягких формах, без самодурства и рукоприкладства, ЭТО все равно невыносимо. Невыносимо оттого, что, как явление, ОНО все равно не перестает существовать. Оно начинают исчезать только с появлением интеллигентности. Только интеллигентность противостоит ЭТОМУ. Она противостояла ЭТОМУ всегда.

Учите молодых, не распускайте. А то потом вам плохо будет, споры начнутся...

⁵Самого главного героя

Простоишь с девчонкой... Пять минут все равно ничего не дадут, но опоздаешь на поверку. Я сначала тоже не понимал, думал: девчонка — она важнее...

В праздник со всех сторон из транзисторов неслась музыка.

...К тому же под високосный год попали, до дембеля на один день больше. В Новый год жгли в умывальной использованные календари.

Я вышел из казармы в темноту и побрел по дороге городка мимо сугробов. Была шумная непогода, буран. Гудели телеграфные провода, мимо проносилась снежная пыль, ветер подталкивал меня в спину. Я опустил клапаны шапки и поднял воротник шинели. Стало тепло и уютно. И отчего-то так радостно и до невообразимости хорошо. То ли оттого, что мне было тепло, то ли оттого, что на ужин я съел ломтик — из присланной кому-то посылки — домашнего сала, то ли еще отчего-то.

Я спрашивал себя:

– Почему мне так хорошо?

И не мог найти ответа.

Нигде не проходит так быстро время, как в наряде. Смотришь, уже четыре часа только до смены осталось. Не успел опомниться, и ничем не отмеченный еще один день прошел зря.

В порядке отступления

Все зависит от точки отсчета. Конечно, можно сделать поэзию из армейских будней, из одной только характеристики современной боевой техники, из стрельбы из автомата по врагу, из метких попаданий по противнику, из донесений и информационных сводок, из слов «тридцать врагов на счету, восемьдесят...», из числа «сорок первый», слов «снайперский глаз», «снайперская винтовка», из противотанкового орудия, которое переходило со своим расчетом с фронта на фронт и на своих колесах проделало

путь от Москвы до Берлина и закончило войну залпом по рейхстагу.

Можно, если абстрагироваться от знания, что пуля, выпущенная из карабина СКС образца 1943 года, насквозь прошивает основание стального рельса, что от автоматной очереди, пока не выступит кровь, обугливается и тлеет на теле одежда, что один снаряд из гаубицы 152 калибра при прямом попадании разносит человеческое тело в бесформенные куски мяса. Можно, если абстрагироваться от того, что под железной каской и защитной формой вражеского солдата скрывается человеческая личность, с памятью, с мыслями и чувствами, со своим прошлым, со своими радостями, горестями, свершениями, бедами; от понимания, что, несмотря ни на что, враг — это все-таки человеческое существо, это — человек.

А, если без абстракций, то окажется, что нет здесь места для поэзии; если без эффектов, то армия и условия, порождающие ее существование — это величайшее в мире зло, достойное всяческого осуждения.

Конечно, рассуждать так можно только в достаточно долгий период мирной жизни.

Еще одно добавление (от лица военного цензора)

При всей спорности рассуждений автора дневника, высказывания его всегда имеют один положительный момент: автор постоянно рассуждает с точки зрения перспективы, мечты, с точки зрения отдаленного будущего, чуждого недостатков настоящего. Такая позиция всегда нежизненна, нереальна, невозможна. Но все же, как таковая, она должна существовать, потому что это всё же мечта, это идеал, а без идеала нет стремления к улучшению жизни, без него мир становится убог и уныл.

У Ленина о подобном сказано так. Он писал, полемизируя с анархистами: «Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства (имеется, в виду аппарата подавления, чиновничества и армии, см. «Государство и революция»), как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное (!)

использование орудий, средств, приемов государственной власти... (то есть аппарата подавления, чиновничества и армии)».

Мечтателям всегда легко, но надо же все-таки учитывать обстановку, понимать, отдавать себе отчет, что армия необходима. Ведь необходима!.. Пусть вынужденная мера, временная, но она нужна. И помнить это должен каждый...

– Дембель давай! — кричали иногда старики в казарме, лежа в постелях перед сном и пересмеивались друг с другом. Разговаривали через всю казарму, в то время как мы, затаившись в темноте, лежали тихо и, смеясь и ни к кому в отдельности не обращаясь, снова кричали:

– Дембель давай!..

Армия в отношении личности одного человека — это одинокая борьба за существование.

На железнодорожном пути фиолетовой звездочкой горел огонек.

Я, в основном, всегда жил наблюдателем. Жил оценкой своих поступков и окружающей действительности, и в запасе у меня всегда была возможность отстраниться, «выйти из игры», выйти из области той или иной жизненной полосы. Я не принимал ничего близко к сердцу, зная, что все, мною переживаемое — временно, и радости и горести, если разобраться, и вся жизнь — проходной этап, нужный до тех пор, пока я не познаю его до конца, не ощушу полностью, а потом отброшу и пойду дальше. Серьезно я относился только к мыслям... Я не имел врагов, редкий человек таил на меня обиду. Мне нечего было ни с кем делить, все для меня было несущественно, временно, я легко расставался со всем, не отстаивал своей собственности и был добр, уступчив, мил, приветлив, потому что меня ничто не угнетало, не связывало, я всегда куда-то мог уйти, я был свободен.

В армии свободы нет, жизнь ты уже не только наблюдаешь, но и участвуешь в ней. Выйти из «игры» тебе в любом

случае не удастся. Ты вынужден жить. А, значит, ты уже не уступчив, не мил и не приветлив. Ты цепляешься за любую возможность жить лучше, пусть даже это и приносит неприятность другим. Здесь для тебя важна уже не свобода существования, а свобода твоего поступка, твоей воли, произвол, твоя жизнь. В другое время ты всеми этими мелочами не дорожил.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ НЕНАВИСТИ

Родом он был с Западной Украины, звали его Степа Кравец, образование — семь классов деревенской школы. Лицо у него было дряблое, морщинистое и на вид много старше двадцати лет. Глаза маленькие, и над веками нависли мешочками складки лишней кожи. Когда он улыбался, глаза становились как щелки, а когда смеялся, исчезали совсем. Поэтому, можно сказать, глаз у него никогда не было видно, так как смеялся он постоянно, крайне веселый был парень. Всегда быстро находил со всеми общий язык и отлично ориентировался в незнакомой обстановке.

В первый же день его пребывания в эскадрилье, в день приезда, вечером, когда большинство солдат ушло в кино и остались лишь «молодые», и в казарме стояла неуютная напряженная тишина разобщенности, он один, уже вполне освоившись, бегал по проходу меж коек с зажатой в ладони шапкой, с вытянутой вперед рукой и кричал: «Товарищи!» — изображая дневальному какой-то кадр из какого-то фильма. Юмором он был набит доверху, можно сказать, пропитан им. Цитаты из кинофильмов, пословицы, поговорки типа: «С любви дед бабе глаз выбил», «за спасибо отец с матерью и спать не хотят», «ешь — потей, работай — мерзни, на ходу немножко спи», — сыпались из него постоянно.

Потешать он нас начинал еще с утра, когда детально и красочно рассказывал очередной свой интимный сон с участием его самого и киноактрисы Жанны Прохоренко с его философским заключением:

— Эх, да-а... только во сне человек может быть счастлив!

Веселил нас на стоянке, выбрав какого-нибудь доходягу и подшучивая над ним:

– Да что с тобой говорить, из лесу ты вышел, в лес и уйдешь. Вышел за солью, вот в армию и забрали. А так — ни ума, ни фантазии, и ничего-то ты не видел, привык с вилами на паровоз бросаться. Таких, как ты, только трое. И все шерстяные...

На обеде, уже допивая кружку киселя и поднимаясь со скамьи, ворчал:

– Мясо варят — как сел за стол, как взял кусок в рот, только сейчас и проглотил.

И тут же мог наврать со спокойной совестью:

– По радио передавали, котлеты стали из нефти делать. В Китае их уже едят...

Вообще — смаковать найденные недостатки, брюзжать и ворчать на что-нибудь было его страстью. Без этого он не мог. Подход ко всему имел несколько циничный, не без злости, но выражал все таким красочным и искусным языком и с юмором, что это всегда подкупало. В отношении к близко окружающим его людям он был чист и ясен. Все обычно отвечали ему взаимностью, и он, видимо, привыкнув к такому положению вещей, не сразу воспринял мародерские законы стариков.

Сначала его очень удивляло, куда девается сапожный крем и зубная паста из тумбочки.

– Только вчера купил, а сегодня полтюбика осталось. Ест ее кто, что ли?

Старики лишь усмехались и отворачивались в сторону, молодые тоже отворачивались, но смущенно и опустив глаза. Они знали и наедине со Степой пытались ему втолковать:

– Понимаешь, тут ерунда такая, порядки...

А объяснить подробнее не решались. Как-то стыдно было. Ведь всегда людям неловко признаваться в своем бессилиии.

И Степа не понимал. И вот один раз, увидев случайно, что двое стариков пользуются его одеколоном, наливая из флакона прямо в ладони, он сказал:

– Братъ ведь с разрешения нужно.

Старики переглянулись.

– Обнаглел молодой, — бросили они. — Смотри, Степа, задавим.

Степа, за словом в карман не лазя:

– Баба одна тоже яйцо курячее давила, давила, а оно ей в глаз и брызнуло.

Старики улыгнулись.

– Баламут ты, Степа. — И отошли в сторону.

Степу они всерьез не воспринимали. Да и нельзя было относиться к Степе серьезно. Лицо у него было вечно улыбающееся, глаза как щелки, выражение лица нелепое и далеко не серьезное, а при его попытках сделать лицо мрачным, оно делалось только длинным, глупым и еще более комичным. Ноги у Степы девичьи, внутрь вогнутые, бедра широкие, талия узкая. Кстати, через год, когда мы уже сами стали стариками и начали носить поясной ремень на бедрах, опустив бляху как можно ниже, а у Степы, вследствие его конституции, как он ни старался ослабить ремень, это не получалось, — наш начальник штаба часто приводил в пример его заправку, говоря нам: вот по-человечески, туго и по уставу, не то что кулак — ладонь не пройдет, пока однажды для убедительности не взялся за ремень, после чего тот тут же расстегнулся и упал к Степиным ногам на землю.

Но это было через год, а тогда мы и помыслить даже не могли о каких-то нарушениях в нашем туалете, потому что были «молодыми» и служить только начинали.

Ну, и всему приходит конец. Однажды Степа замахнулся на командира отделения. Дело было так: наш сержант, старик, будил Степу перед нарядом. Может быть, Степе опять пригрезилось что-нибудь сладостное, может, и иная причина была, но он долго отбрыкивался, не раскрывая глаз и не отрывая щеки от подушки, а, когда почувствовал, что его стаскивают с койки за ноги, он вскочил и в сердцах толкнул сержанта кулаком в грудь. Старик остолбенел. Степа растерялся. Они посмотрели друг на друга,

и сержант ушел. А вечером, за ужином, старики метали молнии: «Ну, салаги, ну недомерки, чижи, фазаны!..»

После отбоя Степу вызвали в каптерку.

Утром он ходил пасмурный, с распухшей губой, ни на кого не глядел, на вопросы старшины и комэска отвечал, что ударился о дверную ручку, и улыбался жалко и растерянно.

Прошла неделя, синяк исчез, сам Степа оттаял, вернулся к прежней непринужденности и в отношении происшедшего заметил как-то:

– Вот люди пошли! Плюнь в глаз — драться лезут...

Но по подъему теперь вставал быстро, приказы выполнял вовремя и, когда теперь старик просил принести воды в кружке, Степу, хотя у него и становилось «каменное» лицо, не надо было уже уговаривать.

А вообще-то, признаться, против стариков нам таить зла было нечего. Они у нас были либеральными. Давать клятву «я, салага, серый гусь» не заставляли, летать с табуретки на пол с завязанными глазами не учили, наголо не стригли, только стращали, в столовой масло делили на всех поровну, в каптерку вызывали редко и даже в некоторых случаях старались быть справедливыми и демократичными.

Мы своих стариков ценили, уважали... Но, право, в «дембель» весной их проводили с радостью. Даже в восстании несколько раз подбросили их на руках.

Старики уехали, и мы вдруг поняли, что мы все — индивидуальности. И у нас начался разброд.

Впрочем, не об этом я хотел рассказать. Рассказать я хотел о ненависти. С ненавистью обстояло дело так...

Именно в это время, тогда-то, после отъезда стариков, мы со Степой и невзлюбили друг друга. Не помню, с чего это началось, но только Степа, этот добряк и весельчак, вдруг проникся ко мне лютой ненавистью.

Сначала я пытался превратить все это в шутку.

– Я же хороший, Степа, — говорил я.

– Хороший, когда спишь мордой в стенку, — не поддавался Степа на примирение.

– Ну, что я тебе сделал? Мы же всегда жили с тобой душа в душу. Вспомни, Степа.

– Я одному вспомнил, до сих пор как живой перед глазами стоит.

И, если до этого Степа был со мной такой же общительный, как и со всеми: вечерами, являясь сущей находкой для дневального, через несколько минут после отбоя в кальсонах и сапогах на босу ногу выходил покурить в коридор и развлекал и меня, как любого, если я был в наряде, своими разговорами. А порой даже утомлял своей разговорчивостью ночью в постели, когда хочешь спать (моя койка стояла рядом с его). И все говорил о службе, и о работе на стоянке, и о девушках в штабе полка, вспоминал смешные истории из своей работы на каком-то маленьком захолустном цементном заводике, где у него и работа-то была — нажимать какую-то кнопку, после чего шум, пыль и грохот, и своей откровенностью не раз вызывал меня ночью на ответную откровенность, и я поделился с ним своими сокровенными послеармейскими мечтами — о чем потом не раз пожалел — тем, что хочу иметь свой дом, квартиру, машину, в общем, тайные мечты о бокалах, о количестве комнат, какое мне нужно, и т.д. И, если так было до этого все время, то теперь Степа в отношении меня замкнулся полностью. И ничего хорошего уже не говорил.

Ненавидеть меня сделалось для него наслаждением и потребностью. Ему доставляло удовольствие меня «подначивать», «подкалывать», задирать. Рассказывал ли я про то, что сегодня было в штабе полка, он — тут как тут — спрашивал: «Когда?»

– Сегодня.

– Врать перестанешь?

Объяснял ли я, как пишется то или иное слово, как произносится, образовалось от чего, или вообще просто отвечал, когда спросят меня о чем-нибудь, он немедленно ввязывался:

– Вопрос можно задать? Почему у зайца помет мелкий, а у лошади крупный?

– Не знаю, — отмахивался я.

– То-то и оно, и в дерьме не разбираешься, а о языке заговорил.

Просто молча слушать меня он не мог. От самого моего присутствия у него уже горели глаза в нетерпении, и я видел, что он ждет только повода, и с языка у него уже готовы сорваться обидные и колкие слова.

Он даже в столовой, где люди заняты едой, умудрялся следить за мной:

– Ну, вот видишь, какой ты! Солишь больше всех, читаешь больше всех, все выделяешься.

А когда ему уже нечего было про меня сказать, он вспомнил, нашелся и предал меня, поведав всем о моей когда-то высказанной ему в минуту слабости мечте:

– А знаете, чего он хочет в жизни? Квартиру свою, дом, машину...

Мне стало почему-то ужасно стыдно, я покраснел и опустил голову. Он же, наслаждаясь моим жалким и беспомощным положением, продолжал:

– Красиво устроиться хочет. Понимаете, чтобы всех баб охмурить. Чтобы отбоя от баб не было. Приводишь, а тут все — пожалуйста. Бокальчики, плафончики... Работенка видная, положение там...

Он теперь мог врать, сочинять, выдумывать с каждым разом что-нибудь еще, понимая, что я не буду оправдываться, что мне оправдываться бесполезно. Много дней, пока она не приелась, он все обсасывал эту тему.

И в то же время был трусоват. Вдруг разозлишься, двинешься с угрозой в его сторону, он запищит и отскочит, а чуть станешь отходить, сразу бросится на тебя, взъерошенный, как шавка:

– Видали, руками-то размахался! Я как махну, так всю жизнь будешь на аптеку работать! — И, когда уже совсем поймет, что ты ему не сделаешь вреда, добавит: — Зубы жмут, что ли?..

И я начал постепенно сдавать. Начал раздражаться и тоже тихо его ненавидеть. Мне стали неприятны и его заплывшие глазки, и то, как он ест, как вытирает со рта ладонью крошки, как раскачивается за столом, кидаясь

ртом на поднесенную ко рту ложку, стал отвратителен его показной цинизм: «Жизнь — это курятник, каждый хочет спихнуть ближнего, нагадить на нижнего и забраться повыше», «слово за слово, базар, вокзал...». Неприятно стало его фрондерство, когда он ругал все и вся только потому, что у него чего-то там не было, например: не было у него машины, а там, там, каждый может иметь машину. На что я со стороны, как и он, замечал: «А тебе ведь не нужна машина, это ведь привилегия всяких там красиво устраивающихся, с положением, куркулей...»

Но слова мои только подливали масла в огонь. Да и говорили уже о том, что я стал на Степину злобу поддаваться, злобой и отвечать. Вот он говорит:

— Зря только читаешь, все равно дурак. Верно, у кого не хватает, тот всю жизнь и учится...

— Ага, тебе-то и первого класса хватило, — отвечал я и потом, через некоторое время, остынув и подумав, корил себя в глубине души за то, что ввязываюсь в постыдную элементарную перебранку. Как последняя посудомойка.

И я стал себя сдерживать. Несмотря на то, что мне он был неприятен, что он меня предал, я продолжал поступать, что значило на моем языке, благородно. Я делал за Степу, если так совпадало, его работу, в помощь, как сделал бы любому другому из чувства приязни, человеколюбия и дружелюбия, когда за добрый и бескорыстный поступок (а тем более сделанный человеку, тебе не нравящемуся) ты становишься приятен сам себе, и когда в порядке ответа на все сознательно показываешь свою незлобивость. Но Степа благородства не понимал и, если я не использовал подходящий случай отомстить ему, он смеялся, говоря: «Упустил момент! Я же говорю, соображения не хватает...» Когда же это повторялось, это его озадачивало, иногда даже пугало, но он спешил объяснить это себе чем-нибудь знакомым. Скажем, тем, что я его опасаюсь, думаю, что он мне может чем-нибудь навредить.

— Боишься меня, — заключал он и торопился рассказать об этом в казарме.

Я молчал и потом, когда мы, несколько человек, в курилке прикуривали от одной спички, помня, как Степа мне от своей прикуривать не давал, уносил из-под самого носа и отбрасывал, я протягивал ему спичку без всякого подвоха, как любому другому, продолжая выдерживать свою линию. Он раскуривал сигарету, выдыхал дым и говорил:

– С детства люблю подхалимов.

Я молчал, пропускал мимо ушей, сдерживая себя и стараясь не ввязываться. Стараясь сохранить в чистоте свое хрупкое чувство интеллигентности.

В школе, в институте, в общезжитии с ненавистным человеком (в конце концов, можно допустить, что, даже при твоём всегдашнем убеждении, что ненависти, этого инстинкта, существовать не должно, что вражда — это категория для человека, венца природы, низкая и постыдная, все-таки можно допустить существование людей, которые тебе постоянно неприятны, угнетающе на тебя действуют), так вот — дома с неприятным человеком ты можешь просто не встречаться, исключить его из круга своих знакомств, по крайней мере, встречаться как можно реже. В армии ты обречен с таким человеком жить, и жить круглосуточно. Порой — даже спать на рядом стоящих койках.

Степа стал мне отвратителен; никого в жизни я так не любил. И, чем больше себя сдерживал, тем более гадок он мне казался.

В столовой найдет волос в каше, зло взглянет на повара, скажет: «Опять через котлы прыгали!», на улице посмотрит на встречную девушку и одним глазом уже изнасилует...

Именно Степе я обязан первым в своей жизни пароксизмом ненависти...

Ненависть притягивает, это как любовь, как наркотик, без ненавистного человека ты начинаешь скучать, и ты встаешь, приходишь и ненавидишь его. Говоришь ему гадости, обидные слова и получаешь удовлетворение.

Степа не мог уже без меня жить. Вот я сижу в техклассе, заходит он и без всякой надобности начинает задирать. И слов-то еще нет, и повода, не придумал еще ничего обидного, мучается.

Я срываюсь, злюсь, кричу...

Я:

Он: Ты мою мать оставь в покое, своей займись, дешевле обойдется... И что — мать? Что — мать!

– Пошел вон!!!

– Что — пошел? Что — пошел? — И стоит в дверях, не решаясь уйти, не может еще уйти, тянет его сюда, еще не все сказал, не получил должного удовлетворения.

И вот — пароксизм. Как-то в который раз что-то насчет книги, моего чтения, и вдруг я себе позволяю, и от предвкушения сладкой мести, того, что я сейчас скажу, что-то пьяняще и одурманивающе пронзает мозг от виска ко лбу, кружит голову и на мгновение застилает пеленой глаза. Я как перерождаюсь. Меня нельзя остановить. Я себя смутно осознаю, издаю как-то наблюдая за своими действиями. Потом где-то глубоко появляется раскаяние, но так глубоко, что я не обращаю внимания. Работает только первая сигнальная система. Я наслаждаюсь мстостью. И я кричу ему в лицо запрещенные самому себе, кощунственные слова:

– Ты — плебей! Ты крестьянин!

И знаю, что слова эти низки и постыдны, что говорить их крестьянину само по себе подло. Но я кричу: «Ничтожество! Протоплазма!» Я жажду крови. И наслаждаюсь жгучей и первой в своей жизни звериной мстостью...

Впрочем, хватит о Степе. Что Степа? О нем я уже много сказал...

* * *

Дневник солдата

(Продолжение)

Я решил его убить своей решимостью. Стал настойчиво смотреть ему в глаза и убрал руки за спину.

– Ну, давай тогда, — сказал я, — бей!

Увы! На него моя поза не произвела ни малейшего впечатления. Убранные назад руки, напротив, только давали ему возможность свободно и точно ударить мне в живот.

Я стоял в наряде дежурным по штабу, ночью. Было скучно, я думал о приятных вещах, мечтал, изредка говоря вслух: «Да, хорошо было бы...» и «Интересно...» в промежутках между отдельными мечтами.

Ночные полеты

Небо было ясное, звездное, месячное. Мороз. Вот включилась система «Луч», и на посадочную полосу от двух установок выплеснулась яркая голубоватая струя света. Задымился воздух, засверкал снег. Стал слышен нарастающий гул. С включенной посадочной фарой шел над домами самолет. Казалось, он летит медленно, будто, подвешенный на нитке на темном фоне декорации неба, спускается по игрушечной канатной дороге. Над землей самолет выровнялся, гул перешел в визг малых оборотов двигателя, самолет аккуратно сел и побежал по полосе. Погасла система, стало темно, только продолжали гореть посадочные огни.

На стоянку заспешили топливозаправщики с полными заиндевелыми цистернами горючего.

А подъездная любовь, когда со страхом ждешь, что хлопнет где-нибудь квартирная дверь, его не удовлетворяла.

Армия — это сплошное ожидание... Не смотри на часы в наряде, потом приятнее будет. Еще пятнадцать минут пройдет, и там два часа уже останется. И наряд кончится. Еще день — и будет воскресенье, только бы в караул не попасть. А три месяца — дембель...

Черти, радисты! Музыка у них, Азнавур. Забавляются...

Сегодня на полетах по посадочной полосе зашлифовали две кобылы с людьми в санях. Сбили график. Стрельнули в них из ракетницы — не достало. Поймать — не поймали.

Им все до фонаря, им в колхоз надо.

Догнали на «ГАЗ-69». Когда шли с полетов, у штаба стояла лошадь с пустыми санями.

Я зашел в умывальную. Ребята толпились у окна, курили и смотрели на улицу.

– Посмотри, красиво как, — сказали они.

Я высунулся в форточку. На улице было еще темно, тепло и тихо. Ветви деревьев покрыл очень густой иней и, освещенные в утренних сумерках фонарями, они были похожи на искрящиеся кораллы.

Пласт снега, взрытый бульдозером, напоминал порезанный маргарин.

– Может, полеты отобьют?

– Да, похоже, и сейчас дымка.

Мы пошли на стоянку, погрелись в техклассе, и нас отослали в распоряжение старшины. Полеты отбили. Мы вышли на улицу. Стоял туман.

Те, у кого срок службы год, относятся к молодым с пренебрежением, так как сами недавно были такими же. Они знают больше молодых и ненавидят их за глупость, несообразительность и нерадивость. Старики уже знают службу настолько хорошо, что относятся к промашкам молодых со снисхождением.

Вертолет запрашивает руководителя полетов: «Разрешите посадку?»

– Полоса занята, заходите на второй круг.

– Ничего, я здесь подожду.

У руководителя полетов квадратные, испуганные глаза. Заработался, не заметил, что не самолет запрашивает.

Утро было пасмурное, к обеду прояснело, а к четырем часам с оттепелью пришел туман.

«Пост пополам хряпнул, коты на крыши полезли — значит, месяц остался до полой воды...» (М. Пришвин)

А когда человеку трудно и тоскливо, человек ищет забвения в любви. Влюбиться бы, что ли...

Настала весна. Новые обязанности. Новые люди.

КУРСАНТЫ

Ниже ротного не разжалуют, дальше Кушки не пошлют.

Послал старшина отнести сапожнику пять пар сапог. У того сидят сверхсрочник и женщина.

– На машине привез? — спросил сверхсрочник. — Или помог кто?..

– Нет, — улыбнулся я. Но это было только начало.

– Вот-вот, — загудел сапожник. — Теперь пойдут. Курсанты приехали. В училище не чинили. А знают, что здесь, на аэродроме, мастерская есть.

Он со злостью стукнул молотком по гвоздю.

– И дома теперь работы прибавляется. И ведь самому делать надо. А когда? Кто поможет? — Он помолчал. Потом посмотрел на меня. — Почему старшина не пришел?! — зарорал он. — Сам должен сдавать! Вот не приму, и все.

Я молча сделал шаг назад и остановился у двери. Сапожник бросил клещи на стол и задумался.

– Да ты не расстраивайся, — сказала женщина, — попросишь у старшины солдатика три. Помогут по дому сделать.

Сапожник молчал. Только минуты через две он подал голос:

– Вот что на свете делается! Страх!

Умным хочет стать. И даже летчиком.

Курсант шел по дороге, сжав перед грудью правую руку в кулак, и смотрел прямо вперед. Это он мысленно держал ручку управления...

Прилетел зачем-то к нам па аэродром древний МИГ-17. Оставил в небе полукруглый инверсионный след и сел, закрулив у СКП.

Травка на аэродроме еще жухлая, но в сырых местах, в низинах, прорастает уже свежая, придавая всему полю зеленую окраску.

Рука у него (у лейтенанта-инструктора) большая и белая, пальцы длинные, конусные и все время выпрямленные. Когда он всовывает руку в вашу ладонь для пожатия, то вы чувствуете, что она еще мягкая, совершенно расслабленная и теплая.

Ладонь узкая, всегда прямая и гнется только в запястье...

В наряде хорошо уже тем, что ты предоставлен сам себе и ни от кого не зависишь. И у тебя четкий и определенный круг обязанностей, в который никто не имеет права вмешиваться. И спать ты можешь днем в неприкосновенной для других после подъема постели.

А когда стоишь в карауле на посту номер один, навытяжку, с карабином «к ноге», то все старшие офицеры полка, проходя мимо, отдают честь и тебе и знамени.

Знамя полка — это традиция, это память, это то, что пронесли сквозь войну, что сохранили и сберегли, пожертвовав за него свои собственные, многие и многие, жизни. Это, пожалуй, единственное из всего в армии, к чему чувствуешь полную искренность и доверие. И поцеловать край знамени, омочив его слезами, не стыдно даже мужчине. Не стыдно никому...

Был на парашютных прыжках. Прыгали с АН-14, «Пчелки», группами по пять человек. Забавный самолет эта «Пчелка». Взлетает почти с места, делает круг, сбрасывает первых трех курсантов, делает второй круг — и еще двух.

Смотришь — отделяется от самолета маленькая, быстро растущая точка и летит вниз, за ней тянется длинная тонкая нить. Секунда — вспыхивает купол, нить расщепляется на множество строп, и уже явно видно, как на них раскачивается фигурка человека.

Я решил сходить на место приземления и пошел в сторону от аэродрома, пересек взлетную дорожку, сырую и мягкую. День был пасмурный, ветер — метров пять, но в небе все равно изредка стрекотали жаворонки.

Квадрат был за кукурузным полем, на прошлогодней стерне. Курсанты, летя в воздухе, переговаривались, радостно кричали, приземляясь, падали. Ветер быстро подхватывал купол и тащил не успевших подняться волоком. Курсанты вскакивали, забегали вперед купола и, ослабляя натяжение строп, гасили его. Все они были оживленные и радостные.

«Нормальный код» — все в порядке.

Из письма курсанту

Напиши, любишь ли ты меня, чтобы я не страдала задаром. С большим и скучным приветом. Люда.

Степа

На улице тепло, дождь, слякоть, вода, оставшийся снег мокрый насквозь, а Степа упрямо ходит на стоянку в валенках.

- Как ты ходишь-то?
- Так и хожу.
- По лужам?
- А что, лужи обойти нельзя?

Буко. Наш новый командир отделения:

Оказывается, ты плохой изнутри...
Какая падла! хотя сейчас режь, хоть вчера...

Двигатель «обрезало» — заглох.

Прилетели из училища два вертолета К-26, пронеслись головастиками над городком и сели неподалеку у штаба полка.

Самолет пикировал и шел уже низко над городом, метрах в трехстах, на огромной скорости, и было видно, как перед хвостовым оперением торчат в разные стороны выпущенные тормозные щитки.

Курсант Подригало в знак одобрения всегда говорит «everybody», причем выговаривает так: «еврибоди» — и что в переводе с одобрением ничего общего не имеет.

– Юнкера, завтра выходной!

– Еврибоди.

Подригало: Жаль, что в кабине ученика нет ручки катапультирования инструктора.

...В бытовой комнате плакат: «Смена караула и часовых. Подготовка к наряду». На обратной стороне я приклеил репродукцию Ю. Ракши «Моя мама (30-е годы)». Там такая мама! Когда начальство уходит домой, я переворачиваю плакат репродукцией наружу.

Было жарко, только где-то на дереве настырно чирикал воробей.

Жарко, душно, тихо, и все сидели по казармам.

АЛГОРИТМ (Тревога)

Громкое имя художника в армии — это не просто громкое имя. Это нечто большее. Это то, что произносится со святым трепетом и преклонением.

Нигде больше я не ощущал такого восторга от встречи с долгожданной, давно уже знакомой по слухам и отзывам, по статьям в газетах, по письмам из дома, нашумевшей книгой, наконец попавшей в руки, или картиной какого-нибудь известного режиссера, которая появляется в солдатском клубе на один день, вдруг, как подарок, поражая неожиданностью, вознаграждая за долготерпение и привнося с собой в солдатский городок деловую атмосферу больших городов, непостижимость интеллигентских споров, дух свободы творчества, роскошь театральных залов, трепет премьер, концертов, кинофестивалей, словом, всю эту бесконечно тревожащую душу солдата невоенную жизнь.

И тем острее и огорчительнее воспринимается потеря, когда на середине долгожданного фильма в клуб вбегает

помощник дежурного по полку и с громкой командой: «Полк, на выход! Тревога!» — широко распахивает выходную дверь.

— А! Пропади оно все пропадом! — обреченно выругиваешься ты, понимая, что теперь уже все — не удастся досмотреть фильм уже никогда, подчеркнуто громко хлопаяшь сиденьем кресла, наступая на ноги гражданским, пробираешься к двери, кляня свою судьбу, бежишь, сталкиваешься со своими на узком тротуаре у выхода, бежишь вместе с ними к казарме, перепрыгиваешь через поребрики и клумбы и, вместе со всеми на ходу, вслух, громко обсуждаешь и поносишь все армейское начальство вплоть до министра обороны включительно.

И, когда влетаешь в ружпарк, на подбадривающие слова старшины: «Быстреей, хлопчики, противогазы в бытовке, быстреей!..» — ты только проворчишь вполголоса и уже на выходе:

— Как же! «Быстреей»! В рот тебе дышло!

Но побежишь действительно быстрее и первый раз улыбнешься, поймав понимающий взгляд очередного спешащего в ружпарк солдата, который тоже с вычурной руганью схватит свой карабин, подсумок и, не глядя в лицо старшине, из его рук патроны. Улыбнешься удовлетворенно и зло, но прибавишь ходу, и на лету ловко поймаешь брошенный тебе противогаз, не глядя застегнешь его на боку, и понесешься с другими толпой на аэродром. И впереди будут бегущие фигуры, и позади свои лица, и рядом — свои.

И вдруг поймаешь себя на чувстве, что тебе давно уже не только горько, но и хорошо. В горечи ты вдруг откроешь для себя удовлетворение. И от того, что ты не один, от того, что вас много, что потеря одна на всех, от того, что противогаз свой схватываешь на лету, а самолет расчехляешь в считанные секунды, и уже бегут офицеры, чтобы занять свое место в кабинах, и ты сдвигаешь назад фонарь... — и даже от того, что кино не дали досмотреть, и даже от того, что полк, команда «на выход — полк!», и именно полк, а не гражданские и стройбат, которые остаются в клубе

досматривать этот долгожданный фильм, — от всего этого начинаешь испытывать злую мучительную радость, и осознание собственной отрешенности от всех человеческих радостей и мирных дел лишний раз напоминает тебе о твоём предназначении и приобщенности к людям, которым праздника не дано.

А потом, после отбоя тревоги, когда Маршал Советского Союза по радио скажет: «Солдаты...», «Матросы и солдаты...» — и начнет говорить о прошедших учениях на территории стран Варшавского договора, тогда ты, всегда с усмешкой воспринимавший это на политзанятиях, пропускавший подобное как болтовню в газетах, вдруг искренне начинаешь верить, что действительно выполняешь долг и что ты действительно один из трех миллионов молодых солдат, которые составляют армию, способную и сокрушить и в то же время сохранить мир...

Если мы сегодня будем прощать сброс фонаря, завтра то, что колесо на рулежке разулось, то послезавтра прощать будет уже некому.

Предпосылка к летному происшествию.

Курсант Козлихин:

– Я влюбился.

Второй курсант:

– В кого?

– А помнишь, с которой я дефилировал, когда вы там, в посадке, дефилировали?

– В официантку из нашей столовой?

– Да.

– Фу, какая гадость...

Сегодня было показательное катапультирование, Прыгал курсант четвертого курса с МИГ-15. Высота 1300. Скорость — 500. Отделилась маленькая точка, стала расти. Донесся запоздавший на три секунды хлопок отстрела. На четвертой секунде курсант отделился от кресла и пошел быстро вниз, кресло осталось наверху. Появились вытяжные парашюты. Вспыхнул парашют курсанта, потом спасательный парашют кресла.

Рассказывал, что эти 20q он и не заметил. Шторку вниз, вверх, выгнулся, голова, ноги, крутился — самолет, аэродром, самолет, аэродром — наконец освободился от кресла, пихнул его ногой, нашарил рукой кольцо и раскрыл парашют.

Сегодня дежурный по эскадрилье, курсант, недоделанный летчик, лопух, сделал подъем на десять минут раньше. С... сын, распорядок лень было прочесть...

Произведен в каптенармусы. Старшина прибрал меня к себе. Кладовщик эскадрильи.

На комсомольском собрании. Жалоба инструктора-лейтенанта:

– Шли курсанты на наземную подготовку на аэродром. Шли неважно. Командир полка увидел, заставил вернуться всех назад и от казармы опять строем. Ну и скажите, какое у них настроение? Как псы злые. А им в кабины садиться. Как с ними работать?

– Нужно было жаловаться.

– А кому?..

Буко

А то будет, як тады...

Закончилась подготовка к наряду. Забрали мундиры, сапоги. Дверь больше не хлопает, стало тихо. Пять часов. Все на разводе. Я закрыл шкафы, расставил по местам табуретки, стремянки. И ушел, закрыв каптерку на ключ.

Подригало: «Не люблю девушек с широкоформатным ртом...»

Курсант: «Копьев ведь у вас, как это говорится, старик. Вы должны перед ним во фронт стоять...»

Дорофеев — молоток, между делом в армии английский учит, — говорят про меня курсанты, — время не терпит. Придет после срочной, будет язык знать...

Шарман...

Светило солнце, потом налетел ветер, погнав по аэродрому тучи пыли и набив ею глаза и уши. Потом пошел косой дождь, он стал с силой хлестать землю, искрясь каплями на солнце. И постепенно исчез. А потом было тепло и пахло прибитой пылью (как у Паустовского).

Приснилось мне сегодня под самое утро, что я прошу сержанта отпустить меня за грибами. В стороне совхоза вдруг оказался лес, дальше сопки. Лес сосновый, чистый, с хвоей на земле. И не помню, отпросился или нет — разбудили по подъему.

Буко. Из записной книжки, которую он оставил в тумбочке, осенью демобилизовавшись

Рафаэль (1519). Рим. Фрагменты «Сикстинская мадонна», «Суд Париса». Афинская школа.

Выписал из моего словаря русского языка значение слов: лаконичный, конспирация, сексуальный. На внутренней стороне обложки приклеен исчерканный календарь.

Совсем мышей не ловишь.

Старшина: «Он из-за этой водки аж дрожит. Так и смотрит, где бы стакан прилобунить...»

А, когда меня разбудили из-за ключа в третий раз, я сказал:

– Говорили же, чтобы до обеда мундиры взяли. Мне же в наряд идти. Как я вас всех ненавижу!

Курсанты заулыбались.

Лыка не вяжешь.

– Пошел в курс, — говорят курсанты, идя в казарму.
Курс мыть.

– Ну, ты сачок!..

– О! А кто это говорит?..

Глухо, как в танке...

Как говорил Диккенс: «Он обгрызал ногти на одной руке, держа другую в кармане про запас...»

ДРУЖБА

Наконец у меня появился друг. Он курсант, звать его Дмитрий Шульц, до училища жил под Ленинградом в городе Пушкине, сейчас у него там жена. Сблизились мы с ним неожиданно. Я видел, как его отчитывал старшина, а он все не соглашался и старался спорить, и на угрозы не поддавался. Наряд? Что ж, пусть наряд. Два? Пусть два. В конце концов, старшина заставил его мыть мне каптерку и с тем ушел.

Каптерку мы с Шульцем мыли вместе, и это нас сдружило. Я немного поиронизировал насчет его романтичности, посмеялся слегка, и он теперь от меня не отходит ни на шаг. Зовет меня Дорофеичем и любит без памяти. Впрочем, как и я его.

– Дорофеич, — говорит он, — ведь мы с тобой друг друга понимаем.

– Понимаем, — соглашаюсь я.

– А ведь это так редко бывает.

– Редко, — я согласно киваю головой.

– Дорофеич, как ты думаешь, мы теперь до конца будем вместе?

– Ну, конечно, вот только кровью распишемся, и все.

– Нет, я серьезно, Дорофеич.

– И я серьезно, надо только гербовую бумагу достать.

– С тобой невозможно серьезно говорить...

И мы сидим некоторое время на скамье на улице, уткнувшись каждый в свою книгу. Наконец Шульц заговаривает:

– Нет, это было бы преступлением — даже не писать... Как ты, Дорофеич?..

Заболел Шульц и слег и санчасть. Пришел навестить. Был вечер, и в перевязочной сидела одна сестра. Я проскочил в палату. Кроме Димки, никого не было.

– Ну, что, дохлятина, живой?

– Да живой... — улыбнулся Шульц и приподнялся.

– Козел, опять проскакал, — сказала сестра. — Сколько раз говорить, чтобы не заходил в палату.

– Все, меня уже нет, — ответил я.

Мы с Шульцем вышли в коридор и сели на стулья. Он достал пачку «Беломора».

– Все горло прокашлял уже, — сказал он, — надорвал уже. Где-то в спине болит, где трахея загибается, там вот, чувствую, и болит.

– Ничего, новую вставят, — сказал я.

– Помру я тут.

– Похороним.

– Да... На улице ветер?

– Ага. Самая моя погода. Тучи, прохладно, свежо.

– Что делал-то сегодня?

– Как всегда... Сейчас из кино. Фильм был душещипательный. Ты такие любишь.

Из перевязочной донесся голос сестры:

– Солдат, какой фильм?

– Литовский. «Поворот», что ли...

– Ну и как?

– Тяжелый.

Я еще хотел сказать Шульцу, что он здорово на меня подействовал, особенно эпизод, где немцы молодую девушку в машину затащили. На меня всегда действуют угнетающе сцены, ведущие к изнасилованию. Для меня они узловые в фильме, я потом спокойно не могу дальше смотреть. Настроение портится, становится подавленным, и угнетает предчувствие какой-то неотвратимой беды, мне даже досадно, что там еще после этого что-то показывают, кричат, стреляют, все это уже пустое, я мучаюсь, страдаю. Для меня изнасилование — это крушение мира... Обо всем этом я и хотел сказать Димке, но из перевязочной вышла сестра и встала около окна.

– Чем фильм-то тяжелый?.

– Да там ребята, школьники, на каникулах, начало войны... Из десяти в живых трое осталось.

Сестра отвернулась к окну, и я стряхнул пепел в ящик тумбочки.

– Ветер, — сказала она, — холодно.

– Да, — сказал я, — надует что-нибудь. Дождь; наверное, будет.

– Дождь — хорошо, — сестра повернулась к нам. — А то ничего не растет. На огороде огурцы только вот такой отросточек пустили, и все. Воду из колодца беру поливать, но она холодная. И так еще холодно. В прошлом году в это время, помню, уже помидоры большие были...

Мы с Шульцем переглянулись, и я слегка прикусил губу.

– А вот капуста растет, она холод любит. Дождичку бы еще, она совсем бы хороша была... А вчера как жарко-то было, ужас. — Сестра на секунду умолкла. Я воспользовался моментом и спросил Димку:

– Курить-то принести?

– Вообще-то кончается. Надо бы. Завтра уже лапу сосать буду, а, может, и сегодня. Сестра опять отвернулась к окну.

– Смолишь и смолить, вот кашель и не проходит.

– Нет, мне даже лучше делается, когда я курю.

– Не трепись!

– Нет, правда.

– Ну, что я, не знаю?

– Вы бы лучше лечили меня. Горчичники бы хоть поставили.

– Тебе банки ставили.

– Так это в субботу.

– Ну, солюксом погрейся.

– А есть?

– В амбулатории.

– Погреюсь обязательно. Это хорошо. А под ним загореть нельзя?

– Это же не кварц. Под тем черным точно станешь.

– Дома я лечился паром от картофельных очисток. Их наваришь и дышишь.

– Это не обязательно очистками, просто картошкой.

– Нет, очистками.

– Не крути мне мозги. Что я, не знаю?

– Нет, правда, нужно очистками.

– Иди к черту.

– Все равно, — сказал я, — что картошка, что очистки, какая тебе разница?

– Потому что дурак, — сказала сестра, все так же глядя в окно.

Мы украдкой улыгнулись.

– А то заладил со своими очистками. Бут твою мать. — Она обернулась к нам. — Ведь все равно.

– С твоей дохлостью и картошкой не вылечишься, — сказал я Димке. — Полеты, значит, побоку...

– Да, — Димка вздохнул.

Мы помолчали.

– Сегодня утром тут приходила одна... с мальчишкой. У нее муж таджик или узбек, — начала сестра. — Привела мальчишку. Тот где-то бегал, что ли, — ушиб никсы свои. Вспухли.

– Что за никсы? — спросил я.

– Ну, этот, весь мужской агрегат-то. Так вот — вспух весь. Я говорю, что надо капитана дожидаться. Это опасно, у мальчишки все распухнет, надо будет все там выворачивать, удалять там всякую дрянь. Так вот муж у этой узбек или таджик... Пришел, значит, капитан, посмотрел, говорит: «Что это такое, по-моему, это только у этих, у таджиков или там узбеков, обрезают...» Я еле сдержалась, чтобы не захохотать. Ведь в самую точку попал. Муж-то у этой как раз и есть таджик там или узбек. Женщина от его слов покраснела, а я не могу, умираю...

Шульц громко кашлянул, отхаркался и, поднявшись, пошел в туалет, чтобы сплюнуть.

– Ты с какой эскадрильи? — спросила меня сестра.

– С первой.

– А фамилия как?

– Дорофеев.

– А Шульц не еврей?

– Нет.

– А кто?

– Да там... — Я не договорил, потому что Димка вышел из туалета и опять сел на стул.

– Я тебя нескромно хочу спросить, — сказала сестра Димке, — ты не этот, не еврей?

– Нет.

– А кто?

– Немец он, — сказал я.

– Да? А что это в армию немцев стали брать?

– Он русский немец, — сказал я.

– Отец у меня поволжский немец, — сказал Шульц, — а я-то русский.

– А-а, ну тогда я переиграю пластинку. Не таджик-то у той, а еврей. У них ведь там обрезают. Так вот, капитан-то и говорит: «Это только у евреев обрезают-то». Я смех удержала, ведь в самую точку попал. Ушла когда эта, я — хохотать, упала на стол головой и сказать слова не могу. Ох... Слышь, срочник тут у нас, фельдшер есть, тоже Бернштейн. Говорит, что украинец.

– Просто украинский еврей, — сказал Шульц.

– Вот-вот. Ненавижу его. Такой противный. Как приехал он, мы снимтолькодваднямирножили-то. Апотом — все. Ух, сука! Не люблю, когда люди вы...ся. Корчит из себя кого-то, — как же, образованный, фельдшер... Главное, привычку имеет: встанет полчетвертого утра и начинает петь. Всего-то три слова и поет, а так, что раз сто повторит одно и то же. С ума сойти. Я как выйду, как заору: «Ты что же, сука, ... поганый, больные спят, тут ты со своим фырмыр. Места нет?» Ладно уж, пел-то что-нибудь доброе, а то свои три слова, современные-то эти, заграничные. Ох, и надоедает. — Сестра отошла от окна и села на стул. — Ведь какая скотина, утром встанет — полчаса бреется. Возит по морде своей жужжелкой, все нервы вымотает. Потом полчаса моется. Запрется в туалете и моется. Полчаса! Женщине там умыться, помазаться и все такое — пять минут. А он — полчаса! Я говорю: «Что, от воды красивее станешь, что ли?» Глаза бы на него не смотрели... Посылки получает каждую неделю. Отец у него директор какой-то фабрики,

мать завгастрономом. Так хоть бы одну конфетку дал. Мне эти конфеты на фиг не нужны, но все равно никогда не поделится. Я не люблю шоколад.

– Да? А я люблю, напротив, — сказал Шульц. — А, кстати, сегодня начштаба приходил, сказал, что меня должны по реактивной норме кормить, а не так, как сейчас, соки там и т.д.

– Как же это мы будем, ты же тут на довольствие поставлен.

– Но мне должны из столовой приносить, как раньше, должен есть по пятой норме.

– Вот пусть начштаба и приносит...

– Нет... ну, нужно... Меня не надо было здесь на довольствие ставить, а носить все из нашей столовой.

– А, ну тогда все правильно. Я согласна. Надо тебе снять-ся тут с довольствия, тогда так и будет...

Шульц посмотрел в окно, потом подошел поближе и сказал:

– Вон как раз Бернштейн идет. Легок на помине.

Мы все улыбнулись.

Бернштейн вошел, напевая: «Ай лав ю, ай лав ю, ай лав ю...» Поздоровался с нами, улыбнулся. Мы переглянулись втроем и улыбнулись тоже.

– Что это ты в окно выглядывал? — спросил Бернштейн Димку.

– Да вот, смотрел, то ли ты идешь, то ли нет.

– А, — протянул фельдшер и прошел в свою палату, напевая «ай лав ю...».

Мы тихо посмеялись.

– Он знает, почему поет? — прошептала сестра. — Ему не с кем разговаривать. Все один да один.

Я посмотрел на часы, поднялся и одернул гимнастерку.

– Пошел я. На поверку опаздываю.

– Ладно, до свидания, — сказал Шульц.

– Всего вам, — сказал я.

– Счастливо катиться, — сказала сестра.

На улице дул ветер. Я пришел в казарму. Отбой был по второй смене лётного дня, и до поверки оставалось еще

полчаса. Курсанты сидели в ленкомнате. По телевизору пела Пьеха. Показывали ленинградские улицы.

– А, завскададом пришел, — сказал Григорьев, — пресловутый Дорофеев.

Я встал за спинами ребят.

– Ей сейчас лет сорок, — сказал кто-то.

– Да ну, меньше.

– Почему это?! Она в двадцать пять окончила университет, а поет уже лет пятнадцать.

– Молодо выглядит.

– Вот Питер показывают... Генка, смотри, Питер. Набережная... Эх, черт. Провырнуться бы, как в былые времена.

Пьеха снова начала петь. Мы помолчали. Потом прибежал Васильев и поздравил Яворского.

– Киевское «Динамо» проиграло: два–три. С чем и поздравляю. — Он пожал ему руку. — Где тут еще Диденко был? Его надо поздравить. Хохлы!..

Все-таки как мне хорошо с курсантами. Я их понимаю, как себя. Так мне легко с ними... А еще Шульц... Я даже к жизни своей армейской начал относиться с терпением...

Ругаться при нас ей, видимо, доставляло удовольствие...

Я принес в каптерку из прачечной полотенца. Они были еще не полностью высохшие, влажные и пахли рыбьей чешуей и тиной.

Буко

В универмаг, то есть в университет, поступаю...

Буко всегда ходит боком. Это у него получается так застенчиво, а, еще учитывая его крупную комплекцию, крепкие сильные руки и то, что он «старик», — вообще очень мило. Правое плечо впереди, старается дотронуться до любого предмета. Будь то дверь — он обласкает дверь, будь косяк — пожулькает косяк. Приложит ладонь к стене, а, обходя здание вокруг, обязательно подержится за угол.

– Руководитель полетов по радиии мне: «Доверни вправо, доверни вправо». Я ручку вправо, а скорость маленькая была, и самолет сразу раз — и креном вниз. Он говорит: «Держи ручку». А я на крыло падаю. Ну, я ручку влево, он как дастся двумя колесами о землю, подпрыгнул, еще раз, чувствую — хрясть, и пошел носом рыть. Болтало по-страшному. С полосы сошел... — курсант расплакался.

Самолет уже был оттащен в сторону и стоял, уткнувшись носом в землю, высоко задрал хвост. Передняя стойка шасси была сломана, стеклотканевый обтекатель лопнул. На посадочной полосе бульдозеры заравнивали взрытую землю

Шульц:

– Ну, я попер!

Я:

– Куда?

– Заполнять летно-техническую документацию.

– А, ну тоже интересно...

Я Шульцу:

– Хороший фильм, Софи Лорен играет. Она там такая миленькая.

– Да уж, миленькая... акула!

– Пардон, я и забыл, что у тебя жена есть. Остальные все...

– Ох, давно я тебя не гонял, Дорофеич.

Буко

– Одно из двух: или ты мне даешь, или одно из двух.

Степа

– Солдат не спит, он отдыхает...

И, убегая от Яворского, которого заболтал, которому надоел горше пареной редьки, и который уже даже в сердцах погнался за ним, потом плюнул, вернулся назад, Степа, довольный и улыбающийся, громче, чтобы всем доставить удовольствие:

– Что с тобой связываться — ударишь дурака, отвечать будешь, как за нормального человека...

Пусть человек сделал тебе тысячу гадостей, пусть предал тебя, и ты готов уже ненавидеть его порой... Но, когда он заразительно, по-доброму смеется — а, в особенности, если еще и над твоими шутками — он в это время для тебя всегда приятен и мил.

Это тот, который стройбата от дисбата отличить не может...

Дезертир

Иной прослужит в армии два года и даже на гауптвахте ни разу не посидит. Бывают даже, что за всю службу от силы один-два наряда получают, и то — на кухню. Бывают — и демобилизуются вовремя, день в день, не задержат их ни на неделю. И уедут с грамотами, с хорошими характеристиками, со званиями отличников боевой и политической подготовки или даже с какими-нибудь юбилейными медалями на груди.

Николай Новиков таким не был. О нем уж точно не скажешь, что этот дисбата от стройбата отличить не может. В армии Новиков прослужил почти четыре года. Два из них — как раз в исправительном батальоне. А уж «губа», как я понял, для него была родным домом, под конец службы он так с ней свыкся, что даже на свой манер ласково и уважительно прозвал ее «гауптической вахтой».

Четыре года службы, два срочной, два в дисциплинарном батальоне и, наверное, в сумме месяцев восемь на гауптвахте.

Первый раз, надо сказать, он попал на нее по наивности. Убежал домой через двадцать дней после призыва, только окончив курс молодого бойца. Убеги он до присяги, его бы даже толком не наказали. Пять нарядов, да и все. Но он убежал после присяги — это уже что-то значило. Это уже расценивалось как дезертирство. Искать долго его не пришлось. Он был в своем городе, дома, у родителей; через три дня за ним пришли, забрали и вернули в часть.

И пять месяцев: один — под следствием, который он просидел в одиночке, потому что подследственных на гауптвахте больше не было, и не с кем его было объединить, и все начало второго он проплакал, жалуясь на судьбу и недомыслие каждому сменному начальнику караула; и еще десять дней второго месяца, когда он уже без всякой надежды ждал вынесения приговора, сидя неразлучно в обществе другого подследственного, такого же, как и он сам, и уже безотчетно ненавидя его, и постепенно сerea лицом, и становясь привередливым и злобным, ругаясь с караульными и досконально требуя от них всего, что позволено подследственным по уставу, требуя курить, требуя газет, разрешенной на гауптвахте пусть лишь политической, но литературы, которую ему приносили и которую он, конечно же, не читал. И остальные три месяца двадцать дней, осужденный Военным Трибуналом на минимальный срок к содержанию на гауптвахте, в течение которого окончательно взматерел в неустанной борьбе с караулом, и что я совершенно хорошо себе представляю, потому что сам в армии несколько раз нес службу караульным на гауптвахте, видел таких и страдал от них и представляю, как он делал все, стараясь досадить караульным солдатам, выбивая себе положенные по уставу полные пятьдесят минут прогулки по двору, стуча без конца в дверь, просясь то в туалет, то курить, отказываясь работать, после отбоя кроя всех часовых в смотровое окно: «Молодой, салага, сука, выключи свет!» — а то и сам разбивая сапогом в камере круглосуточно горящую лампочку дежурного освещения. Могу себе представить, что под конец срока стал совсем серым и угрюмым, как до последней крайности, так что не осталось живого тела, в мрачном иступлении истатуировал себя идиотическими надписями и рисунками, достав где-то, какими-то только самим арестованным известными путями, тушь и иголки.

Пять месяцев он просидел на гарнизонной гауптвахте, а, выйдя, попал через пару недель туда опять на пятнадцать суток из-за какого-то пустяка, о котором он мне даже не упомянул. И это, вероятно, действительно было

пустяком, потому что, отсидев положенное, к концу года Новиков влип уже серьезно; был осужден на срок в два года с направлением в дисциплинарный батальон за то, что избил своего командира роты...

Добывал деньги: пишет домой «сегодня был в наряде, потерял затвор от карабина, вышлите двадцать пять рублей». «Стоял дневальным, закурил, спалил шторы, вышлите десять рублей».

– Между тем роль либидо в жизни человека, скажем, по Фрейдю, это важнейший стимул. Несравнимый.

Шульц:

– Да заткнись ты!

Воспоминание о будущем

Когда прощались с Шульцем, говорили, что увидимся, приедем друг к другу в гости, заедем по пути, будем писать письма, звонить по телефону.

Я написал ему всего одно письмо, по телефону мы не разговаривали. Ни разу проездом в Пушкине я не был, и мы не виделись с ним больше никогда.

Курсанты всю начали вылетать самостоятельно. Сегодня таких было семь человек. Вечером на тумбочке дневального лежат две пачки «Казбека» — это дань вылетевших, помимо тех папирос, что они раздали на аэродроме, и бутылок коньяка, подаренных или распитых с инструкторами.

«Казбек» — вылетные папиросы.

Вечер был сырой, было холодно, дул ветер, неся в лицо промозглую пыль.

Листья на деревьях ливень истребал и сбил на сторону. Небо, крыши и лужи после дождя были белесыми и сияющими. Дым из трубы кухни валил кучно и расплывался над землей. Было свежо, и мне у окна дышалось глубоко и хорошо.

А когда дождь пошел снова, шумный, сильный, ребята — отдыхающие второй смены — проснулись. Буко поднялся и подошел к окну.

— Пошел наконец, — сказал он.

— Да, два часа готовился, — ответил я.

— Но это ненадолго, он с градом. — И он стал смотреть в окно.

В казарму проникал свежий воздух. Ребята замерзли, заворочались, чуть приоткрыв глаза, покрутили головами и, как коты, свернулись потеплее и полезли под одеяла.

А вечером перед проверкой мы гуляли с Шульцем. Посмотрели на закат. У штаба полка в окно поглядели на Надю-телефонистку. Подошли к стенду, где разряжала карабины смена караула знамени. Караул был наш, курсантский. Разводящий — младший сержант Хорошков, который, кстати, в суворовском училище свободно научился читать по-английски. Караульный — не помню.

— Что тут делаете? — спросил Хорошков.

— Да вот, Шульц притащил к бабам, — сказал я, предусмотрительно отходя от Димки подальше. — Думаю, не стоит обижать парня, схожу за компанию.

— Ну, гад, — Шульц улыбнулся и двинулся ко мне. Я забежал за стенд.

— При всех-то стесняется, знает, что жене заложить могут.

— Ох, и сволочь же ты!

Сегодня Шульц испытал ко мне какие-то нежные чувства и спросил с надеждой:

— Дорофеич, ты посерьезнел?

Как ему все-таки хотелось быть со мной откровенным.

— Нет, — ответил я. — Я никогда не бываю серьезным. Я терпеть не могу, когда лезут в душу.

— Я, напротив, слишком откровенный, — добавил Шульц чуть позже.

Но все же был весь вечер со мной ласков и рассказал о жене Тане, какая она чудесная с распущенными волосами...

«Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит.
Чье сердце разум остудил
И забываться запретил!»
«Е. Онегин», Пушкин

+ + +

И, когда я понял, что ношу в себе извечные бессмертные и переходящие из поколения в поколение гены, мне стало легче жить.

Ведь это так много: пронести в себе частицу бессмертия, соприкоснуться, стать элементом вечности, осознать, что эстафета жизни, великое дело природы тебя не минула, а тогда, значит, главное твое предназначение — это твою икс-игрек хромосому обязательно другому передать...

.....
.....
.....

Козлихин: «В посадке на природу смотрим. Ажиотируем».

Я: Пойдем лопаты нести.

Шульц: Нет, я не могу.

— Ну ладно, вспомнишь потом.

— Нет, мне правда — нужно.

— Ясно, ясно.

— Мне нужно письмо написать.

— Во-во, вспомнишь потом.

— Да иди ты к черту! Сам неси свои лопаты.

И мы расстаемся, довольные друг другом.

Когда смотришь на заходящий на посадку самолет снизу, когда он пролетает над тобой, быстро спускаясь, качая крыльями и, выравниваясь на полосу, поводит, как клювом, красным стеклотканевым носом, весь он, с рычаньем двигателя, похож на древнего ящера-птеродактиля.

Сейчас подошел к двери, выходящей из казармы, и увидел секретаршу из строевого отдела. У нее вообще такие стройные ножки — загляденье. А тут она стояла спиной, глубоко наклонившись с улицы в раскрытое окно кухни и с кем-то внутри разговаривая. Платье поднялось и обнажило ножки высоко. Колени ее были сдвинуты и правая нога чуть согнута в колене. Я только взглянул, и весь обомлел. Так сильно ударило в голову, сильнее, чем вино, даже грудь сдавило. Я быстро отошел назад и, спрятавшись в глубине коридора, украдкой и воровато, с жадностью и восторгом смотрел на эти ножки, ловя все их движения. Сердце сладко щемило, в голове был дурман.

Попов вчера был в наряде по кухне и вечером бегал по «железке», по сортировочной. Напился у грузинов вина, хотел соблазнить меня, я только дал ему фляжку и куртку. Он ушел, я ждал, ждал, уснул, а этот подлец пришел только в три утра.

Говорит:

– Выпили мы с каким-то солдатом у одного Яшки, у другого. Потом посидели у третьего. Яшки салажата еще, лет по восемнадцать, и — девки с ними! Я одну за ногу в дверь подергал, говорю: «Пойдем со мной». А она: «Он меня убьет!» Пьем, а денег у меня — шестьдесят копеек. Возвращаюсь уже в часть, смотрю: баба вагоны считает. Я ее обнял, так, знаешь, для балдежа... а она: «Да ты что! Я же на работе». Ну, я все понял и сразу ее в пустой вагон. А тут, как назло, эти подошли и смотрят.

– Кто «эти»?

– Да солдаты, с которыми я пил... Баба, значит «нет, нет» сразу. Я ребятам рукой махнул: идите, мол. Они ушли, но она уже все, ни в какую. На этом и кончилось... Проводила она меня до части, и я пошел на кухню спать, влез в форточку и на столе уснул.

Тетрадь песен солдата

Есть на свете чудесная шутка,
От которой волнуется кровь.
И на сердце становится жутко.
Эта шутка – любовь.

Любовь – это девичья сказка,
Любовь – это праздник любви.
Любовь – это вечная ласка.
Любовь – это роза, как ты.

Любовь – это Черное море.
Любовь – это злой ураган.
Любовь – это счастье и горе.
Любовь – это вечный обман.

Любовь – это зубная боль, которая
рано или поздно появится.

Любовь – это сказка.
Любовь – это свет.
Любовь – это рана,
Но повязки нет.

Красивая женщина — как интересная книга, а интересная
книга всегда потрепана.

Любовь – это радость мальчишек,
Любовь – это радость девчат.
В любви есть такие вопросы,
О которых ребята молчат.

Девушки в солдатском клубе:

– Сколько солдат, сколько женихов! Но не выберешь,
они все какие-то стандартные...

– А обрати внимание, как смотрят. Как в зверинце. На
диковинок... Ну, что смотришь, ну, ну?..

Солдат не выдержал, смутился и отвернулся.

– А они не могут, когда на них долго смотришь...

– А вон — душат! А там по голове бьют... О, Господи,
ему же больно!

– Нет, — отвечает солдат с большой квадратной челю-
стью и улыбается. — Это же братан.

– А-а, если брат, то, конечно, не больно, ясно...

Петля Нестерова

Он падал с высоты с нарастающим визгом приближаю-
щегося снаряда. На горизонтальном полете визг плавно
переходил в гул и, когда самолет, делая восходящую бочку,

опять взмывал вверх, гул переходил в громовой рев двигателя, который, наконец, исчезал, растворяясь в вышине, когда самолет ложился на спину.

Небо тянет всегда так, что готов смотреть в него беспрерывно. И, чем дольше смотришь, тем сильнее притягивает оно к себе...

* * *

Сегодня ночью курсант Б. урвал женской плоти. Весь день ходит гордый, и уже все об этом знают.

Я об этом услышал только вечером. Мазуров занимался в казарме культуризмом, Б. смотрел на него.

— Мышца так и играет, — говорил он. — Сильный ты парень, Маз!

— Еще бы, я по ночам сплю.

Б. довольно улыбнулся.

— Водку не пью, — продолжал Мазуров с перерывами под глубокий вдох. Он делал упражнение для косых спины. — Курить бросил, не то что ты — бродит где-то, а днем ползает по стоянке, как муха по подоконнику... Сексуальный гангстер Б.

— Ладно, не отвлекайся, дыши. Качай мышцы, мы скоро тебя за деньги женщинам показывать будем. Потому как на остальное не способен, так фигуру хоть покажешь.

— Ох уж, Господи, выискался — гигант. — Мазуров стал ходить взад-вперед, отдыхая. — Раз крылышки расправил — и уже гонора-то. А честно признайся, Б., Ирка, поди, пощупала тебя, да и послала в эту... Так?

Б. не ответил.

— Да нет, — раздался голос со стороны, — он утром сегодня как кот довольный был.

Б. опять улыбнулся.

Мазуров шумно дышал, ворочая гантели. Все тело его, вплоть до самых плавок, блестело от пота. Мышцы вздувались буграми и, даже не прикасаясь к ним, можно было с уверенностью сказать, что они упруги, а кожа, обтягивающая их, гладка и эластична.

– А грудь-то, грудь отрастил, — опять сказал Б. — Я тебе, Маз, скоро бюстгальтер куплю, первого номера, а потом, когда уже совсем разовьется, в складчину на шестой соберем.

– Ты, Маз, все-таки здоровый парень, — задумчиво сказал какой-то курсант со стороны. — Сколько раз в неделю занимаешься?

– Каждый день, — ответил Мазуров. — Но это — только вот неделю-полторы, а так все урывками. Иногда, вот, струя находит, и качаюсь, сколько могу.

Б. долго и пристально смотрел на фигуру Мазурова. Потом, что-то, видимо, решив, подошел к своей койке и тоже разделся. Рядом с Мазуровым он выглядел довольно бледно.

– Дай-ка и я попробую.

Подошел, взял гантели. Пару раз поднял, поболтал, покрутил их вниз, положил на пол. Сел на табуретку отдыхать. Потрепал, пожулькал свою грудь и сказал:

– Как быстро мышцы закрепощаются. Уже твердые стали.

Потом взглянул на Мазурова:

– Дальше руку назад отводи, так плечи сильнее напрягаются.

– Ладно уж... как-нибудь, — ответил Мазуров.

Потом Мазуров ушел мыться, Б. остался один.

– Сегодня столько сил отдал, — пошутил кто-то, — и еще гантели ворочает.

– Да, не говори, — согласился Б. — Последние силы отдаю.

Чувствовалось, что он сегодня доволен собой до невообразимости. Готов сдвинуть горы. Горд, уверен в себе и смотрит на всех со снисхождением и все время старается навести разговор на любовную тему, чтобы мимоходом заметить, что он делал сегодня ночью.

И всем он почему-то малопривытен.

У него были белые руки с очень длинными пальцами, и он часто сопровождал разговор их поочередным загибанием.

Сходил в магазин — один палец, в столовую — второй, купил мяса — третий.

Жена сварила суп — один палец, ушла из дома — второй.

И часто назидательно выставлял палец вверх, и тот торчал перед лицом собеседника, ровный, прямой как палка.

* * *

Чертовски сложно мыслишь — курсант.

Перекладывай рули, пойдем на танцы.

* * *

Голдишь, голдишь, маленький, а колготной...

Буко

«Хомут» — это у него старшина. Фигурообразный...

– Я одной рукой... знаешь трактор «ДТ-54»?

– Рукой задерживаешь?

– Нет, скорость переключаю.

– Кто расскажет двадцать анекдотов подряд — за обедом пять кусков мяса, — Степа.

– Конечно, ты трепаться можешь, как шестиламповый...

* * *

Была сумеречная гроза. Потом стало до невозможности тихо, свежо и влажно. Где-то за деревьями плавился и бесшумно сторал от огромных ежесекундных зарниц горизонт. Грома не было слышно...

Сегодня Б. посетила та девушка. Он прошел с ней на виду у всех вразвалочку, с достоинством глядя по сторонам и всем видом говоря: «Вот та девушка, с которой я спал прошлой ночью...»

И все-таки хочется чего-то другого, сладостного и щемящего, чтобы всего скрутило и понесло...

ДЕВУШКА, КОТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ

О том, чего никогда не было

Она вышла из автобуса, и я сразу понял, что я ее знаю. Мы с ней дома, в нашем городе, учились в одном институте. Но только учились, знаком близко с ней я не был. На их факультете и парней-то всего человек десять, но все десять они всегда были вокруг нее. Сквозь это кольцо и не пробиться.

И вот она одна. Выйдя из автобуса, она остановилась на тротуаре и посмотрела на море. Вытащила из сумочки и надела темные очки. До нас долетел глухой, наполовину съеденный полуденным зноем щелчок замка. Ребята пошли медленнее, а у ступенек, спускающихся к пляжу, остановились вовсе. Нагнав их, я тоже встал.

— Вот это да, — произнес Кешка. — Вот, я понимаю — женщина...

— И зовут ее Майя, — сказал я.

— Ты ее знаешь?

— В одном институте учимся.

— И молчишь, лопух! Познакомь!

Я улыбнулся:

— Кто бы меня познакомил.

Майя посмотрела в нашу сторону, задержала взгляд, мне показалось, на мне, но я тут же подумал, что это — желаемое за действительное, из-за очков глаз все равно не было видно, и повернулась лицом к гостинице.

— Может, все-таки подойдем? — предложил Кешка. Но в это время из автобуса выпрыгнул высокий молодой парень с чемоданом и спортивной сумкой в руках и подошел к Майе. Он что-то сказал ей, и они вместе направились к гостинице.

— Н-нда, — произнес Кешка, — обидно.

Майя больше не смотрела в нашу сторону и шла рядом со своим спутником, чуть повернув к нему голову.

Правда, в этом повороте было что-то скорее любезное, чем интимное, и поэтому я продолжал еще следить за ними.

– Ладно, — сказал Виктор. — Очарование кончилось. Пошли. — Он дернул Кешку за рукав и стал сбегать по ступенькам вниз.

Я задержался.

– Я чуть позже приду, — сказал я. — Сигареты в гостинице забыл.

Ребята рассмеялись.

– Не растеряй только их на обратном пути, — крикнул Кешка.

Майю с ее спутником я нагнал у самого входа в гостиницу.

– Ну, счастливо вам устроиться, — сказал он ей, останавливаясь и протягивая руку. — Если что, заходите. Буду очень рад. Адрес мой не забыли?

– Нет, что вы, — ответила Майя и улыбнулась.

Я прошел мимо них в вестибюль и сел в холле в кресло. Прямо напротив меня было в стене зеркало, и я долгое время ловил в нем Майино отражение, отводя глаза.

Наконец, совершенно уже распрощавшись со своим спутником и взяв из его рук чемодан, Майя сняла очки и вошла в дверь. Мучительно краснея и все-таки пересиливая себя, я встал ей навстречу.

– Здравствуйте, Майя! — сказал я, налегая для эффективности на ее имя.

– Здравствуйте, — улыбнулась она, ничуть не удивившись, что слышит свое имя от незнакомого человека.

– Вы, конечно, меня не знаете...

– Почему? — прервала она меня. — Я тебя видела в институте.

– Да? — не замедлил поразиться я, с радостью и благодарностью относя ее слова на счет моей примечательной внешности.

Догадаться о моих мыслях было, конечно, нетрудно, и Майя сказала:

– Я почти всех помню в институте. У меня, говорят, очень хорошая зрительная память.

Но сказала она это спокойно, улыбаясь и, как я понял, не для того, чтобы меня обескуражить, а просто констатируя факт.

– Каким ветром тебя сюда занесло? — спросил я, принимая предложенное ею обращение на «ты».

– Да вот, приехала к морю. Вояж в одиночку. Я здесь уже полторы недели — задумала осмотреть все побережье, не знаю, как получится. Была в Крыму, теперь, вот, здесь.

– И все одна?

– Одна, — ответила она все так же спокойно, без вздохов и взглядов и не подавая повода ни к каким мыслям.

– Не скучно?

– Бывает иногда. Но я быстро меняю место и там, где скучно, долго не задерживаюсь.

– Тяжесть-то эту хоть опусти, — сказал я, указывая глазами на чемодан.

– Да, не говори, не могу расстаться... — Она поставила чемодан на пол и обвела глазами холл. — Ты обожди минутку, я узнаю, как насчет номера.

– Номеров нет, — сказал я. — С этим плохо.

– Но я все-таки схожу, — улыбнулась она. — Может, Бог даст.

Майя пошла вглубь холла, а я сел в кресло и стал смотреть ей вслед на ее ноги. Дойдя до высокой стройной пальмы в кадке, она повернула направо к администратору. Я приготовился к тому, чтобы, когда она оглянется назад узнать, слежу ли я за ней, ответить ей нечаянным и жарким взглядом. Но она не стала оглядываться, хотя ей всего-то и нужно было чуть повернуть голову. Я закурил и стал ждать, наблюдая через стеклянный витраж, выходящий в море, как на горизонте из голубой дымки вырисовывался легкий силуэт корабля.

Майя вернулась минут через пять. Я уже почему-то был уверен, что номер она достанет, поэтому ключу в ее руке не удивился. Разве для красивых женщин что-нибудь трудно?..

– Тут у вас один дорогой номер освободился, — сказала она. — Правда, это сумма, конечно... но на один день можно уж и раскошелиться.

– Ты на один день?

– Да, завтра утром уеду... Проводи меня, пожалуйста.

– Ну конечно! — Я загасил окурок в пепельнице на столике и, взяв чемодан, пошел вслед за Майей.

– Ты не представляешь, как я рада здесь земляку, — она полуобернулась ко мне и чуть приостановилась, чтобы идти рядом. — И главное, с которым учимся в одном институте. Можно сказать, уже почти родственники.

Мы поднялись на лифте на пятый этаж и нашли номер 508. Майя открыла дверь и вошла.

– Проходи, — сказала она уже из комнаты. Я поставил чемодан около шкафа и подошел к огромному, до самого пола, окну. Оно выходило в лоджию, и из него можно было во всю ширину видеть море.

– А у тебя тут неплохо, — сказал я, смотря, как корабль вдали вырисовывается все четче.

– Да, правда, хорошо.

Когда я повернулся к ней, она сидела в кресле, положив ногу на ногу. Ноги у нее были до того правильные и красивые, что я на мгновение поразился этому своему неожиданному и быстрому с ней сближению. «Невероятно, — подумал я, — еще двадцать минут назад она была для меня недосягаема».

Майя заговорила, и от простоты ее голоса удивление мое снова стало улетучиваться.

– Ты давно здесь отдыхаешь? — спросила она.

– Неделю.

– Ну, тогда, как старожил, выкладывай, что здесь есть интересного. — Майя вытащила из сумочки сигарету и закурила.

– Могу повести тебя в город, — предложил я, представляя себе, как буду идти с ней рядом по улицам, и как прохожие будут на нее оборачиваться.

– Ловлю тебя на слове. Только чтобы показал все добросовестно. А, может, у тебя все-таки дела?

– Какие еще могут быть дела?

Майя улыбнулась.

– Я это потому так говорю, что займу тебя собою уже на весь день. Уж коли попался, не хочется упускать земляка. Ты уж извини...

– Я извиню, Майя. Я — извиню. — Я расплылся в улыбке, потому что сердце в груди у меня так и прыгало от радости.

– А сейчас — для начала — пойдём купаться. Ты ведь тогда с ребятами на пляж шел?

– А что, ты меня еще тогда узнала?

– Конечно, ты ведь меня тоже сразу заметил.

– Тебя... — Я хотел сказать, что ее нельзя не заметить, но не сказал и только произнес: — Разумеется, тогда же...

– Я быстро, переоденусь и буду готова. — И, захватив свой чемодан, Майя прошла в другую комнату.

Я вышел на лоджию и простоял за окном минут пять. Отыскал фигуры ребят на пляже, они были на старом месте, у серого валуна, посмотрел на море, и Майя позвала меня в комнату. Она была уже в шортах и в легкой кофточке ярко-зеленого цвета.

Мы вышли из номера, спустились вниз, и я провел ее на пляж к нашему месту. Познакомил с ребятами, потом, решив, что лучше поздно, чем никогда, представился и сам. Кешка начал острить, ухаживать, говорить комплименты, даже рассказал анекдот про джентльмена в трамвае и кончил тем, что уступил Майе свое место, сказав при этом: «Какое очаровательное создание, Сашка, ты к нам при- вел».

Я же тем временем подумал о том, что надо раздеваться, и с горечью вспомнил про свои ужасные волосатые ноги. Я начал раздеваться, краем глаза следя, как Майя отнесется к моим ногам, но она не удостоила мою фигуру даже взглядом. Ребята ей, по-видимому, понравились, она тоже шутила, смеялась и буквально уже через полчаса таскала Кешку за волосы. Я начал ревновать и пригласил ее играть в бадминтон.

Мы долго прыгали среди лежащих на песке полуголых тел, я много раз наступал на ноги, чем возбудил к себе в радиусе десяти метров всеобщую ненависть. Терпели

меня только как партнера Майи. Она нравилась всем без исключения. В бадминтон она играла великолепно, была гибкой, ловкой, подвижной, я тянулся за ней, старался не отставать, и воланчик у нас, бывало, не падал на землю минуты по три. Когда мы кончили играть. Майя подошла ко мне и пожаловалась на тесноту.

– Я вообще-то знаю место, — сказал я. — Мы его в первый же день нашли, но там мы вчетвером не вмещаемся.

– Так пойдем, — попросила она.

Мы собрали вещи, надели, чтобы не обжигать подошвы ног о горячие камни, обувь и под недовольное ворчание Кешки, что я лишаю их солнца, ушли.

– Далеко это? — спросила Майя, когда мы достигли конца пляжа.

– Четверть часа.

Мы залезли на скалы. Держа Майю за руку, я провел ее по галечной осыпи, по крутому склону. Пройдя с полкилометра поверху, мы спустились по расщелине вниз к морю, на небольшой пятачок песка, окруженный с трех сторон черными потрескавшимися скалами. Всю дорогу сюда я опасался, что место занято, — о нем, естественно, знали не только мы, но оно было свободно. Солнце стояло в зените и освещало пятачок полностью. В тень от скал он начинал погружаться уже только ближе к вечеру.

Я сбросил с себя плетенки, забрался по выступу на каменный козырек справа и, пробежав по небольшому мысу, уходящему в море, прыгнул с него вниз с двухметровой высоты. Когда подплыл к берегу, то не стал выходить на сухое место, а растянулся на мелководье, поставив под подбородок руки и лежа грудью на песке. Нежась в теплой воде и любуясь фигурой Майи, я был счастлив.

Майя между тем торопливо раздевалась. «Какое место! Я тоже хочу прыгнуть!» — в нетерпении проговорила она, пытаясь стянуть узкие, намокшие от плавок шорты. Они, как назло, не поддавались. Майя зачем-то спешила, нервничала и, наконец потянув с силой вниз, сдернула их частично с плавками. Я увидел не тронутую загаром, контрастно-белую на темном фоне скал кожу, низ Майино

живота и черные вьющиеся волосы. Майя с досадой поправила купальник и бросила снятые шорты в сторону.

— И этот еще тут, как специально, — проворчала она, взглянув на меня нахмурившись, из-под бровей, и швырнула галькой.

Я неизвестно чему страшно обрадовался, исчез с головой под водой и поплыл, открыв глаза и перебирая по дну руками. Когда я всплыл на поверхность. Майя уже бежала по мысу. Бежала она ровно, прямо ставя ногу и не откидывая ее сзади в сторону, как обычно это делают при беге женщины.

«Спортсменка», — подумал я. Майю я теперь уже воспринимал окончательно как обыкновенную девушку. Коли у нее такой же белый живот, как у всех.

Когда она прыгнула, я тоже нырнул и попытался поймать ее под водой за ноги, но она увидела меня, увернулась, и я, как в наказание, ударился об ее ногу головой.

Вынырнул я позже ее. «Ах, охотиться за мной!» — засмеялась она, включаясь в игру и, подплыв, начала топить меня, нажимая на плечи. Я, не сопротивляясь, быстро ушел вниз и всплыл метрах в пяти от нее, пробуя ушибленное место.

— Однако. Оказывается, это безразлично, что женская ножка...

— Так это я тебя по лбу? — засмеялась Майя и, перебирая в воде руками, переместилась ко мне ближе. — В следующий раз будет еще больнее, берегись... Ну-ка, что там у тебя? — сказала она, отводя со лба мою руку. Я не дал ей опомниться, схватил за талию, крепко прижал к себе и вместе с ней пошел на дно. Майины волосы, как длинные черные водоросли, потянулись наверх, с губ сорвалось несколько пузырьков воздуха. Она начала было вырваться, потом закрыла глаза и картинно откинула голову назад, представляя собой утопленницу. Потом опять забилась, нахмурилась, глядя на меня, и я ее отпустил. Она заработала ногами и ушла вверх. На поверхности она встретила меня упреком и набросилась снова...

Вылезли на берег мы замерзшие, с посиневшими губами и растянулись под солнечными лучами, как можно глубже вжимая свои влажные тела в горячий песок. А чуть обсохли, начали, как малые дети, резвиться снова. Я достал из своих брюк расческу, принялся заботливо и любовно расчесывать Майе волосы. Она лежала лицом вниз, лбом на сложенных руках и ни о чем не подозревала. Я разложил ее волосы веером и придавил их камнями. Потом нагнулся и поцеловал ее в шею. Майя сделала движение, как бы сгоняя с себя назойливую муху, натянула при этом одну из прядей и схватилась рукой за волосы.

— Ах ты, гадкий мальчишка! — сказала она, продолжая лежать лицом вниз и нащупывая и сбрасывая рукой камни.

— Тут одно время дельфин плавал, — сказал я.

— Где? — подняла голову с рук Майя.

— Да вот, у берега.

— Живой?

Я подумал и сказал:

— Ну да... Мы приносили ему хлеба, он с удовольствием жрал его и, главное, так нахально чавкал. Когда хлеб кончался, он все косился на нас глазом и, по-видимому, был страшно недоволен, что мы мало принесли. — Увлечшись, я даже приподнялся и сел на песке. — Из-за своей прожорливости он даже чуть однажды не задохнулся. Стащил у нас ласт и начал есть. Но подавился, и мы еле его выходили... Привык потом, и даже вылезал на песок — позагорать рядом с нами. Милое такое животное...

Майя, слушавшая сначала с интересом, снова опустила голову.

— Болтун, — сказала она.

— Нет, правда, плавал. — Я опять лег на песок. — Только дохлый. Маленький, меньше метра, а запах от него стоял ужасный! И по воде какой-то жир все расплывался. Мы его в сторону отбуксировали, — я показал рукой вдоль берега. — До вечера отмыться не могли.

– А я ни разу близко дельфина не видела. Даже мертвого. — Майя повернулась на спину и смахнула с груди и живота песок.

– А ничего так, забавный, мордочка острая, как у лисы...

Начала она с ног. Тщательно засыпала ступни и голени, когда дошла до колен, то сказала: «А волосатый, как обезьяна». Сказала мимоходом, продолжая нагрывать песок. В этом была какая-то близость, я даже рассмеялся, до того мне стало хорошо.

Голова у меня лежала на большом камне, и на Майю мне было смотреть удобно. Когда она покончила с ногами и пододвинулась ближе к моей голове, засыпая туловище, я близко увидел ее тело. Грудь не помещалась в тесном лифчике и двумя упругими круглыми буграми поднималась вверх. Верхний край лифчика глубоко врезался в кожу.

– Я люблю тебя, — сказал я.

Майя даже не взглянула на меня.

– Перестань, — сказала только, наваливая песок мне на грудь.

– Я люблю тебя, Майя, — повторил я, чувствуя, что это слово доставляет мне удовольствие.

На этот раз Майя даже не ответила. Она, прикусив губу в озорной улыбке, засыпала мне шею.

Теперь я различал у нее в ямочке на груди несколько прилипших песчинок.

– Я хочу тебя, Майя, — сказал я.

– О, Господи! — Она не нахмурилась, не закатила глаза и даже не убрала руки с моей шеи. «О, Господи!» — сказала она, как бы давая понять, что не о деле я думаю. Но все же переместилась мне за голову, чтобы я не мог ее видеть.

Когда она покончила со мной совсем, то отошла на несколько шагов, любуясь своей работой.

– Вот, теперь ты похож на мумию, — улыбнулась она.

– Дай-ка мне лучше закурить, — сказал я и посмотрел в море. Маленький силуэт корабля вырос теперь в огромный белый лайнер. Он был еще далеко от берега, но то,

что он огромный, это уже было видно. Корабль шел теперь вдоль береговой линии...

– Все-таки пришел, — сказала она вечером, и у нее был такой тон, что казалось — что я ни сделай, и даже расколось сейчас земля, и то она не удивится.

Она расчесывалась на ночь перед зеркалом. Волосы у нее были мягкие, а губы теплые.

– Может быть, все-таки не стоит? — спросила она тихо и посмотрела из-под бровей.

– О, ты еще спрашиваешь! Стоит, конечно, стоит...

– Но смотри, я тебя предупредила...

И на моей обнаженной коже растаяла прохлада ее сосков. Сколько в ней было нежности, пылкости... Я думал, что умру от гордости и счастья, сознавая, что она — моя... Уснула она, смешно уткнувшись мне в плечо носом.

Только на другой день я понял, почему она меня предупреждала. Потому что утром она все равно уехала. И я мучился и жалел об этой потере потом всю свою дальнейшую жизнь...

* * *

Пискунович остригся наголо. Я спросил: «Зачем?»

– Чтобы не ходить в самоволки. Лучше я буду летать. А с самоволками — я давно понял — полетов не получится. Теперь, если зовут, уже думаю: идти или нет...

Ну, мы ему кислород перекроем!..

Шульц

– Я сегодня о тебе своей жене написал, — сказал он.

В воскресенье утром ответственного долго не было, и мы спали еще некоторое время после подъема. Потом заработала трансляционная сеть. Дежурный включил свет. Зазвучали знакомые, задушевные для военного человека песни типа: «Я тебя поила колдовскою водой...» Ребята заворчали, открыли глаза, стали слушать.

– Ветер шесть баллов, нижняя кромка триста метров, дождь. Температура плюс десять градусов. Дымка.

Я вышел на улицу. Погода была сырая, шел мелкий дождь, он был невидим, а только ощущался на голой спине холодными прикосновениями, и на лужах появлялись и исчезали мелкие кружочки.

Кто-то принес с улицы в казарму кота.

– Дежурный, убери животное!..

* * *

23 августа

Наступило такое время года, когда постоянно идут дожди и, если и выдастся ясный день, то тепло, только когда стоишь на солнце. А чаще после ночного дождя и утро сырое, пасмурное, прохладное, к полудню появится сильный ветер и начнет срывать с деревьев много желтых листьев и гонять их по земле, подсушивая грязь вдоль дорог и в кюветах.

Курсанты скоро уезжают.

Да здравствует советский отпуск. Самый гуманный отпуск в мире...

И вот — уехали. Опустел городок. И мы, пятнадцать человек солдат, опять в огромной казарме одни...

* * *

БОРИС КАРПЕНКО

1

Борису Карпенко дали ефрейтора на 23 февраля. Первым же получил звание ефрейтора на Ноябрьские праздники Базилий. Эту новость тогда принес из штаба сам Карпенко. Он сообщил нам это известие перед обедом, сказав, что слышал от комэска, и до самого вечера

был угрюм и зол, с Базилием избегал разговоров, а на ужин даже постарался замешкаться, позволяя свое обычное место рядом с Базилием в конце стола занять другому, и на удивление очень мало ел.

Вечером он пошел в клуб, встретился со своей девчонкой, посмотрел кино и перед поверкой был более оживлен.

Но заговорил он лишь на следующий день утром, в столовой.

— Ефрейтор, как собака, друг человека, — сказал он.

Базилий на это только улыбнулся.

Карпенко продолжал есть. Он ел перловую кашу и смотрел через наши головы в раскрытую дверь. Ел он, как всегда, не глядя в тарелку, быстро, много и глотал, почти не жуя. Он уже покончил с перловкой, когда Базилий к ней только приступил. Карпенко покосился на его миску и сказал:

— Видали, заважничал, как лычку бросили. И ест-то по-китайски, по одной крупинке. Как же! Отличник УБП...

— При чем тут УБП? — Базилий усмехнулся. — И, кстати, ты разве не отличник?

— Ну, пусть отличник, но я же не ефрейтор.

— Еще дадут.

— Нет уж, не выслужился, да мне это и на фиг не нужно. Ты-то, я знаю, давно об этом мечтал. Придешь на дембель, как покажешь — мать наземь грохнется. Да и девки попадают. Первый парень Ефрейтор Базилий.

— Да брось ты, — Базилий поморщился.

— Не забудь сфотографироваться. Как лычку пришьешь — сразу в город... — Карпенко рассмеялся и посмотрел на нас, ища поддержки.

— Я не понимаю, — сказал Базилий, — ты что, завидуешь?

— Вот еще. Больно надо. Ефрейтора получают только служаки и подхалимы...

Когда же в феврале Карпенко сам получил ефрейтора, то лычку пришил себе чуть ли не с ленту старшины...

2

Я всегда завидовал людям, которые способны подниматься рано утром по собственной инициативе. Для меня такие люди непостижимы. Для меня всегда остается тайной то, как они умудряются с такой легкостью расстаться с постелью. Начинает казаться, что сон для них — не приятное состояние, а всего лишь обуза; и сладкое чувство истомы, которое охватывает тебя утром, в то время, когда нужно подниматься и когда готов отдать все за лишние пятнадцать минут, им неведомо. Впрочем, как и бессонница, сон у них ровный и здоровый, и нервная система, по видимому, такая же.

Наш Карпенко из таких.

Еще темно в казарме, еще не было команды дневального, а Карпенко уже встал, уже скрипит подо мной на нижнем ярусе койкой, натягивая шаровары и надевая сапоги. Я лежу неподвижно, с закрытыми глазами, прикидывая в уме, сколько еще осталось до подъема, и отмечаю сквозь дремоту, на какой стадии одевания Карпенко находится. Соображаю, когда он наконец наденет последний сапог, пристукнет каблуком, поднимется с койки и перестанет скрипеть. Дождавшись этого момента, плотнее прижимаюсь щекой к подушке, натягиваю на голову одеяло, расслабляю мышцы и стараюсь опять переключиться с дремоты на сон. Это мне удается сначала, но потом Карпенко громко хлопает дверью в коридор, и я просыпаюсь снова. В разных углах казармы начинают ворочаться ребята, громко вздыхать, с чмоканьем сглатывать слюну, и некоторые даже бормотать что-то нечленораздельное. Слышно, как Карпенко громко разговаривает с дневальным, потом выходит в умывальную, и голос его, резонируя меж кафельными стенами, становится звонче и надоедливее.

Сейчас он начнет чистить сапоги — и будет чистить их долго, минут десять, двумя щетками, одной для крема, другой для растирания, и бархоткой для придания блеска. Сапоги он свои любит, поэтому они у него всегда не

заношены, всегда подкованы, всегда блестят, ни одной царапины...

Потом он начинает бриться. Электробритвой «Харьков». Будет тереть щеки, подбородок, шею, стоя перед зеркалом в одной майке, разглядывая заодно свои лицо и плечи. Потом тщательно обметет ножи кисточкой, продует, сложит бритву в футляр, снимет майку и пойдет мыться.

Плещется он с удовольствием, обкатывая себя по пояс холодной водой и растирая ее по телу ладонями.

Натянет майку. В майке он ходит всю зиму. В то время когда мы носим положенные кальсоны и нательные рубашки, он надевает майку и трико, сам стирает, сам гладит, прячет в чемодан перед инспекторскими осмотрами и старается не попадаться в них старшине на глаза.

Потом он причесывается. Собирает в полиэтиленовый мешочек сапожные щетки, берет мыльницу, вешает на шею полотенце и, если дневальный первого года службы, то дает ему напоследок несколько ценных и мудрых советов. Возвращается в казарму.

Вот он опять хлопнул дверью и идет к своей койке, запинаясь в темноте за табуретки, проклиная их и матерясь. Подходит к тумбочке, бросает в нее сапожные принадлежности, гремя мыльницей, роняет что-то на пол.

Разбудил ребят.

– Потихе там можно? — ворчит Степа, он спит рядом со мной на верхнем ярусе через проход.

– Заткнись, салабон, — роняет Карпенко, не повышая голоса. — Молодой еще скулить.

Это получается у него обыденно и привычно. И действует безотказно. Салабон — это где-то производное от «салаги». «Салага» — это тот, кто только начинает слушать. Степа в армии около года, он — салага, поэтому он умолкает. Я служу столько же, поэтому я тоже молчу. И тут неважно, что Карпенко на два года меня младше, главное — что у него весной дембель.

Я переворачиваюсь на другой бок и начинаю ждать подъема.

Карпенко достает одеколон, наливает себе в ладонь и, плеснув на себя, фыркая, кряхтя, шлепая себя ладонями по щекам, размазывает одеколон по лицу. Одеколон у него «Тройной», и в казарме нестерпимо начинает пахнуть дешевой парикмахерской.

Заснуть я уже не пытаюсь. Достая из ящичка верхней тумбочки часы и при тусклом свете ночного освещения пытаюсь разглядеть на них стрелки.

С зарядки мы возвращаемся, шумно взлетая по лестнице. В казарме звучит музыка. Работает местная трансляция из клуба. Музыка древняя, но она веселит. Пленок в клубе всего две, и обе мы знаем наизусть. Сейчас пел Рафаэль, потом будет Магомаев, а после него — я знал — пойдут несколько песен Элвиса Пресли. Я знал, что Карпенко скажет о них: «И что за песни, даже слов не понять», и потребует заткнуть «эту говорильню». Поэтому я подхожу к динамику и делаю погромче. Потом возвращаюсь к своей койке и начинаю заправлять постель.

Пресли здесь всего кусок, из концерта, кажется, на нью-йоркском стадионе. Это когда он спрашивает публику в микрофон, что петь. «Рок-энд-ролл?» — и публика дружно отвечает «ноу», «Буги-вуги?» — и опять — «ноу!». «Твист?» — и под бурное и истеричное «йез!» начинает:

«Твист эгин, лайк уи дид ласт саммер...»

— Ну, что за музыка! Заткните вы ее, — Карпенко даже поморщился.

Но заткнуть никто не решился.

— Зарубин! — это он обращается ко мне.

— Оставь так, — доносится голос из угла. Голос Базилия.

— Выключи.

— Оставь, — Базилий тоже старик, и с Карпенко они на равных и, пока у них идет выяснение отношений, мы продолжаем слушать. Когда Пресли кончается, я иду в умывальную.

3

Любит командовать, груб, деспот и в то же время любит подчиняться начальнику. Когда с ним однажды на смотре разговаривал приезжавший генерал, у него просто выкатывались из орбит глаза. Не понимает, как можно начальство критиковать. «Ведь это же командир!..» — этим для него сказано все. Для молодых невыносим, но в армейских условиях полезен, как никто. За счет своей власти «старика» держит в повиновении и дисциплине остальных солдат, «молодых». И, когда старшина узнает, что нерадивому молодому подбросили оплеух за нарушение устава, он отмалчивается, потому что понимает, что от этого все же польза.

Еще недавно ходил как-то сгорбленно, быстро семеня ногами и опустив голову. Теперь он как вновь родился — грудь вперед, походка неторопливая, важная. Теперь он — старик. Если раньше считалось, что старик — это солдат последнего года службы, то с переходом на двухлетний срок — это солдат последних месяцев шести.

Но деспотами становятся не все Настоящие старики — это люди, никогда власти не ощущавшие и наконец дорвавшиеся до нее не в силу каких-то своих заслуг, а в силу выгодного положения, срока службы, они понимают, что это временно, после окончания службы они снова рядовые, ординарные, как все, и иными им и не быть уже во всей последующей жизни, — и поэтому используют эти полгода всюю.

* * *

И все-таки иерархию, как институт, я ненавижу. Я ненавижу раздолье для честолюбцев, неравноправие, эгоизм, благоприятные условия для проявления власти...

Нет, только не армия воспитывают в человеке коммунистическое мировоззрение...

И, когда уже окончательно возненавидишь юродствующего и издевающегося над тобой (и использующего рамки устава) начальника:

– Да, сэр. Нет, сэр.

* * *

Хорошее слово «товарищ», но как его можно извратить, заставляя в приказном порядке везде обращаться так и к своим друзьям. Неумелыми руками все опошляется.

– Не «Сашка», не «ребята»! У батьки Махно были ребята!..

А товарищ солдат!

Да.

Товарищ Богомолов.

Товарищ Саша.

Товарищ друг.

Время близится к зиме. На аэродроме тихо и пустынно. Даже летчики перестали появляться на стоянке. Все разбрелись по отпускам...

Курсанты приехали только весной, к началу летного сезона. Но это уже были новые курсанты. Старых курсантов больше уже не было никогда...

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Рассказ ефрейтора запаса

В Бельчинском лагере всю весну над березами у казарм трепало ветром флаг. Его трепало в конце мая, когда уже цвела яблоня, распространяя тонкий, приторно-сладкий запах, и он развевался и хлопал полотнищем над позеленевшими, в листьях, ветвями берез и тополей. В апреле, когда еще было холодно и мы выбегали на зарядку еще в гимнастерках, его трепало на фоне туч и стального цвета неба. В марте, когда только таял снег и лагерь пустовал, его не было на мачте вовсе, а трепало ли флаг в июне, я

сказать уже не могу, потому что к тому времени демобилизовался и был дома, у матери...

Но в мае и апреле, когда флаг бился над Бельчинским лагерем и летним аэродромом Н-ского высшего военного училища летчиков, и еще раньше, в марте, когда он, завернутый в плотную оберточную бумагу, находился в Ирбизино на складе ОВ, а потом, полученный старшиной по приказу замполита полка, лежал у меня в каптерке — в то время я был еще ефрейтор и «старик». И, как все, готовился к перелету и, пока эскадрилья привыкала к мысли о его неизбежности, офицеры — в штабе, с тоской готовя документацию, и в техклассах, ворча на свою судьбу и очередное лето без жен, солдаты — в ленкомнате, яростно забывая козла, и в курилке, обсуждая предстоящую свободную и привольную лагерную жизнь, получал со старшиной со складов обмундирование, ларингофоны, кислородные маски, полетные очки, шевретовые перчатки для курсантов, «подменку» и банное мыло для солдат, уносил полученное в каптерку, пересчитывал и укладывал в упаковочные мешки. После зимы время было оживленное, нервное, деятельное и, с приближением срока приказа о демобилизации, еще и радостное для нас.

Курсантов мы тогда ждали в апреле, двенадцатого; кстати, приказ о нашей демобилизации вышел днем позже, а двумя днями раньше, одиннадцатого, на сутки опережая своих, к нам в эскадрилью прибыл не летать уже, а вместе с нами служить в техническом составе отчисленный со второго курса училища курсант со странно элементарной фамилией Булкин. И все последующее сложилось для меня так, что кроме флага над Бельчинским лагерем, единственным, что из времени той весны надолго врезалось в мою память, стал сам Булкин и разбор его проступка, послужившего поводом для отчисления на последнем для меня в армии, состоявшемся за четыре дня до моего увольнения заседании комсомольского бюро.

Булкин прибыл к нам сразу после гауптвахты. Постриженный наголо, с чемоданчиком, шинелью-скаткой, в старом хэбэ с новыми солдатскими погонами и еще курсант-

ской темно-зеленой пилотке пэша. Придя в казарму, Булкин отрапортовал старшине и отдал ему документы. Старшина сначала посмотрел в передаточную ведомость, потом на его стриженую голову, прошелся глазами сверху вниз и принял Булкина по описи. А я выдал ему простыни, подушку и матрац.

Солдаты встретили курсанта холодно, койку ему выделили самую незавидную, на проходе, и для начала записали его через сутки три раза в наряд. Но Булкин со всем согласился безропотно, будто того и ждал, подчинился молча и зла не таил. Он вообще держал себя скромно, летной подготовкой не кичился, значка с количеством парашютных прыжков не носил, свысока на солдат не смотрел, приказания сержанта выполнял без пререканий, справедливости не искал, в амбицию не лез. Был несколько медлителен, выслушивал приказания, улыбаясь краем губ, но все выполнял точно, в строй никогда не опаздывал и постель заправлял не хуже других. В ссорах и ругани по поводу очередности заступления в караул не участвовал и, когда мы с пеной у рта доказывали друг другу, кто последним был в наряде по кухне, он молчал, а, если без всякой очередности досылали его, шел на кухню, не споря, и лишь опять слегка улыбался и прятал от нас глаза. Разговаривал с нами мало, был неназойлив, в душу никому не лез. Когда ребята острили на его счет, смеялся тихо, будто слегка покашливая, и глядя в пол. Свободное время проводил лежа на койке, ходил не торопясь, не сказать — лениво, но как-то замедленно, на кровать ложился тоже не спеша и, снимая сапоги, уже смотрел пустым взглядом куда-то в потолок, ложился, не отрывая глаз от потолка, и мог так часами лежать, не засыпая и не смыкая век. В домино он не играл, не курил, в самоволку не бегал, к ночным похождениям Сережки Лещева, о которых тот обычно рассказывал за завтраком, оставался равнодушным совершенно. Ел уже совсем медленно, и нам непременно приходилось бы его в столовой ждать, если бы ко всему прочему не ел бы еще и мало. Во внутреннем кармане гимнастерки носил чайную ложечку и, когда мы слизывали

кашу со своих столовых и алюминиевых, чтобы потом погрузить их в чай, он в это время, бросив в кружку сахарные куски и глядя в окно, уже дробил и помешивал их своим блестящим мельхиоровым инструментом.

Был чистоплотным до последней крайности. Обязательно споласкивал руки перед едой, одежду всегда носил глаженую, цвет лица имел чистый и свежий. В тумбочке держал пластмассовый флакончик с жидкостью от пота, крем «Поприн» для волос, крем «Идеал» и крем «Янтарь» для сухой и нормальной кожи. У Степы Кравца, спавшего на нижней койке под Булкиным, после того, как он заглянул однажды в тумбочку и сделал такое открытие, невольно вырвалось: «Интеллигенция!» — и, не забыв заметить в сторону и между делом, и совершенно без повода, что он бьет всего два раза — второй раз, естественно, по крышке гроба — Степа с этого времени потерял к «разжалованному» курсанту всякий интерес.

По вечерам Булкин вставал с койки и приходил в ленокмнату.

– Булкин пришел, — констатировал кто-нибудь из доминошников, и все на мгновение поднимали на Булкина глаза.

– Мужики, это он пришел газеты читать, — вставлял Лещев, и мы смеялись. Булкин улыбался, устраивался в углу и действительно — начинал читать газеты. Мы возвращались к игре, я заканчивал круг и, уступив место очередному, садился с Булкиным за шахматы.

Мы играли с ним молча, Булкин мне почти все время проигрывал; сидели напротив, я смотрел на него, и мне все больше казались странными эта его непринужденность, мягкость и такая удивительная для армии уравновешенность. При всей его забавности внушало уважение то, что он ни на что не жаловался, безропотно мирился со всеми несправедливостями, к неприятностям относился терпеливо, большого значения им не придавал, как бы с библейской мудростью считая все это суетой.

Только позже я узнал, что у него тогда просто-напросто была мечта, а все остальное и в самом деле не имело для него никакого значения.

На перелет в Бельчино нам выделили Ил-14. Рейсов было всего два. Полетного времени — тридцать минут. Туда — тридцать, и обратно... Курсанты отбыли поездом, а самолетом, первым рейсом, отправили солдат третьей эскадрильи, и мы ждали возвращения самолета полтора часа.

Было апрельское чистое утро. Я сидел на тюках с бельем и обмундированием посреди пустынного аэродромного поля, где мы их сбросили с грузовика. Старшина уже наводил порядок в лагерных корпусах, а мы были еще здесь, в Ибризно, на аэродроме. Ребята бродили у здания ТЭЧ, Булкин лежал на мешке с простынями позади меня, лицом к небу, я сидел, накинув на плечи шинель, подставив спину солнцу, и смотрел в степь. А над нами, на высоте порядка девяти тысяч метров, долго и непрерывно с ровным тяжелым гулом шли парами, один за другим, турбовинтовые бомбардировщики ТУ-95. «Тоже перелет», — задумчиво сказал Булкин еще в самом начале, но я не ответил, и теперь он лежал молча у меня за спиной и смотрел вверх.

Степь и аэродром были в яркой зелени от только на днях пробившейся травы. Голой оставалась лишь взлетная полоса. Она, убегая вдаль, терялась где-то за линией горизонта, а над ней небо было голубое и прозрачное, в котором, растворяясь, на глазах таяли легкие и почти неподвижные облачка.

— Булкин, — сказал я тогда, — ответь мне по честному (бездеятельность и степь меня всегда настраивают на сентиментальный лад, когда вдруг становится себя жалко, потом становится жалко других, когда вдруг появляется желание кому-нибудь что-нибудь поведать, или разделить чужое горе, или просто говорить «по-честному», «откровенно», «ну, выслушай и пойми!»)... Так вот, Булкину я

сказал именно «по-честному». — ...по-честному: в армию ты пошел служить сам?

Булкин меня не понял.

— Конечно, — ответил он, — я же в училище поступал.

— И не пожалел?

Булкин ответил, что не пожалел. Вернее, он ответил, что это сложно. С одной стороны, он все никак не может привыкнуть: воспитают в школе на мыслях о демократии, а потом сунут туда, где ее нет — обидно; но с другой стороны, для него все же не было неожиданностей, все это он предвидел и знал. Это меня удивило. Мне всегда казалось, что такие ребята, как Булкин — с чайной ложечкой в кармане — поступают в училище не от хорошей жизни, с намерением либо получить высшее образование, либо уклониться от обязанности служить два года рядовым. Такие, поступая, об армии понятия не имеют, узнают о ней уже поздно и потом раскаиваются и проклинаят тот день, когда вместо двух лет службы они обрекли себя на двадцать пять.

— В институт, что ли, провалил? — спросил я.

— И не пробовал. Сразу в училище...

— Странно... В командиры метишь?

— Да нет, — усмехнулся он, — командовать-то я как раз и не люблю.

— Тогда непонятно. Никогда бы не променял институт на армию.

— При чем тут институт? — произнес Булкин бесцветно и даже как-то уныло. — Я шел в авиационное училище, и шел в него, чтобы летать.

— Летать? — переспросил я и даже специально повернулся назад — посмотреть на выражение его лица. Я ему не поверил, мне это показалось ребячеством, да и летать можно было бы и в ГВФ. Я тогда не предполагал, что для Булкина это гораздо серьезнее.

В самолете Булкин сидел у иллюминатора и смотрел на землю через стекло. Самолет шел довольно низко, часто вздрагивал, а порой и проваливался вместе с нисходящим потоком вниз. Дыхание у меня перехватывало, и что-то

жутко и сладко поднималось, тянулось и рвалось у меня внутри. Занятый собой, я не сразу обратил внимание, что Булкин от иллюминатора повернулся ко мне. И лишь поднял на него глаза, когда он неожиданно произнес:

— У меня нет выхода, в гражданской авиации не те скорости. Мне нужны истребители. — И добавил: — А летать я буду, этой осенью все равно опять поступлю.

И, пока я тупо смотрел на него, соображая, к чему это он все говорит, Булкин замолчал, остановил на мне свой взгляд, что-то, видимо, понял по моему лицу, отвернулся, затих и больше к нашему разговору никогда не возвращался. Но все, что мне надо, я тогда уловил. Слова его до меня дошли. «Эка его, — подумал я, — проняло». И вслед за этим грустно улыбнулся над самим собой.

Булкин оказывался приверженцем одной идеи. А таким, одержимым, имеющим цель и призвание, я завидовал всегда. Если стоит вообще завидовать кому-нибудь в жизни, то завидовать нужно людям именно таким. И спокойны они, и уверены в себе, и сомнения их, как правило, не гложут, знают они, куда идти, беззлобны как один, всегда с улыбкой на лице, а так и жить легче. И суета наша для них — не первостепенное дело и, если мы распяляемся по пустякам, стараясь проявить и утвердить себя среди друзей, знакомых, красивых женщин, вечно стараемся обрести достаток и благополучие в жизни, они значения таким вещам не придают никакого, для них важнее их призвание; и, если мы кончаем свои дни в старости и безвестности, то они — на вершине успеха и славы. И все, о чем мы мечтаем, за что боремся и деремся, достается им просто и само собой, как несущественное приложение к достигнутой цели. И, наконец, само их существование ранит наше самолюбие, постоянно напоминая: насколько неполноценна по сравнению с их жизнью наша жизнь...

Одним словом, трудно не завидовать таким.

В лагерь мы прилетели к двум часам. А уже в три Булкин получил свой первый выговор от старшины.

Это было как никогда кстати. Его разговор со старшиной происходил на наших глазах, а мы прекрасно помнили, что при всем кротком нраве Булкина из училища он был все же за что-то исключен. И, хотя причины исключения никто в полку не знал, мы, однако, считали себя вправе ждать, что Булкин начнет проявлять себя с «отрицательной» стороны. И уже потому, что сам он с этим особенно не спешил, его первый разговор со старшиной и был как раз кстати. Обед уже заканчивался, и мы сидели в курилке, рядом со столовой, когда старшина окликнул опоздавшего Булкина на крыльце.

– Отставить, рядовой Булкин, — скомандовал старшина. — Ко мне! Почему опоздали на обед?

– Матрац относил, — сказал Булкин, видимо, найдя свой ответ исчерпывающим.

И по существу дела он был прав: он действительно выполнял приказ командира эскадрильи и переносил его постельные принадлежности из каптерки в коттедж. Я сам по распоряжению старшины выдавал ему матрац. Правда, я его не относил и поэтому в столовую успел.

Но с нашим старшиной Булкин был еще не знаком.

– Ты устав знаешь? — спросил старшина. — Что в столовую в строю должен ходить, знаешь?

– Знаю, — ответил Булкин.

– Так почему ты опоздал на обед?

– Ну, вот же, комэск приказал матрац отнести, вы же в курсе, — постарался объяснить он.

– Почему ты опоздал на обед, я тебя спрашиваю.

– По приказу комэска... Далеко нести было...

Старшина смерил Булкина глазами.

– Почему ты опоздал на обед? — повторил он еще раз. Булкин задумался и замолчал.

– Не знал, что обед в три часа, — сказал он на пробу, взглянул на старшину, помялся и добавил еще: — Столовую тоже не сразу нашел.

– Я тебя спрашиваю: почему ты опоздал на обед? — повысил голос старшина, и Булкин замолчал снова.

– Не знаю, товарищ старшина, — наконец произнес он, — честное слово, не знаю, виноват.

Покорности от Булкина старшина никак не ожидал, она даже несколько смутила его. Тема обеда автоматически исчерпывалась. На некоторое время старшина озадаченно замолчал. Булкина он все же не отпустил.

У старшины это называлось «ковать железо, пока горячо». Главное: захватить молодого солдата врасплох, не дать ему опомниться и круто подчинить себе. Жалел он лишь исполнительных, другие у старшины не вылезали из нарядов и постоянно мыли казарму и туалет.

Некоторые романтики из нас, выполняя всю эту грязную работу, поначалу напускали на себя независимый вид.

– Что ты улыбаешься, что ты улыбаешься? — говорил старшина, и это было для него самое досадно-ненавистное.

– Я считаю, что, когда наступают трудные дни, нужно встречать их с улыбкой, — говорил романтик мужественно.

– А ты считаешь, что это — уже трудные дни? — спрашивал старшина, и в душу романтика закрадывался червь сомнения и неизвестности.

Старшина молчал недолго.

– Почему пилотка неуставная? — спросил он, и Булкин снова начал собираться с мыслями.

– Почему пэша? Почему, я тебя спрашиваю?

– Такую выдали, другой нет, — произнес Булкин, и то, что так говорить не следовало, сообразил уже поздно.

Старшина начал меняться в лице.

– Ты мне рот не затыкай! — сказал он и побагровел. — Демагогию не разводи! Солдату полагается пилотка хлопчатобумажная. Курсантскую пилотку сдать в каперку, получить хэбэ!

– Есть, товарищ старшина! — послушно ответил Булкин, вытягиваясь.

– Научили вас там говорить, губошлепов! Интеллигента из себя строишь? — старшина положительно подозревал Булкина в интеллигентности. — Интеллигенты мне

тут не нужны! Впечатление на школьниц будешь производить. А у меня ты будешь казарму драить, на три раза... с теркой... понял?

— Так точно, товарищ старшина! — ответил Булкин с готовностью и плотно прижал руки по швам. Лицо его выражало полнейшую серьезность. В чем даже содержался некоторый юмористический смысл.

Старшина посмотрел на Булкина внимательно. Юмора не уловил.

— Ладно, — сказал он, сбавив тон, — иди обедай. Позже разберусь.

Но позже старшина забыл, а мы тогда разошлись неудовлетворенными. Вопрос об исключении не прояснился, а сам Булкин нас разочаровал.

Был у Булкина и еще подходящий момент отличиться. При встрече с подполковником Русым. Но и это кончилось миром. И после этого я от Булкина уже ничего не ждал.

В тот день к Русому в лагерь приехала жена. Она привезла их четырехлетнего сына, и вот они все втроем попались нам навстречу недалеко от летнего клуба, куда мы с Булкиным спешили в кино.

Русый на нас не смотрел, можно даже сказать, он нас вообще не видел, и честь можно было бы вроде не отдавать. Но я Русого знал, и поэтому, хотя он и был занят исключительно женой, честь в его сторону на всякий случай отдал. Булкин же не успел. Когда Русый для контроля покосился на нас, мы уже прошли мимо него на два шага, и отдавать честь было уже до неприличия поздно.

— Вернитесь, товарищ солдат! — сказал Русый, и Булкин остановился.

— Повторите, — приказал тот.

Булкин нерешительно потоптался на месте.

Жена Русого ушла вперед и остановилась невдалеке, а сын, как только освободился от руки отца, сел тут же на корточки и в ожидании стал ковырять щепкой дорожную пыль.

Булкин вернулся шагов на десять, прошел мимо Русого и отдал ему честь.

– Еще раз, товарищ солдат, чтобы лучше запомнить.

Булкин прошел еще раз. Русский оба раза аккуратно взял под козырек. Мальчишка на все это даже не взглянул.

– Ребенка бы постеснялись, — сказал я, когда Булкин поравнялся со мной, посмотрел на мальчишку, повернулся к Русому спиной и пошел.

Если бы он меня даже и окликнул, я бы не остановился. Служить мне оставалось всего ничего, а начальник он мне был не прямой. Я шел с Булкиным, не оборачиваясь, а Русский молчал. Он, видимо, понял, что так просто ему меня не остановить.

– Подлец какой! — сказал я и, плюнув в пыль, посмотрел на Булкина. На вид он был спокоен и серьезен.

– Как знать, — произнес он, глядя в сторону, — может быть, по-своему он и прав.

– Русский прав? — удивился я.

– Ну да. Его ведь тоже можно понять. Дисциплина...

Я даже растерялся от неожиданности.

– Ну, знаешь! — сказал я.

– Нам кажется, что он не прав, а ему кажется, что не правы мы. А так, как он в данном случае выступает на стороне дисциплинарного устава, то объективно выходит, что прав — он. — Булкин слабо улыбнулся и посмотрел по сторонам.

– Ну, и дурак же ты, — сказал я, глядя на Булкина с жалостью. — Ты случайно в детстве менингитом не болел?

– Нет, не болел, — улыбнулся Булкин еще раз.

А я подумал тогда: за какой же все-таки проступок могли этого послушника, этого скромника и тихоню из училища, столь ему необходимого и страстно желаемого, исключить?..

На следующий день о моем хамстве в адрес Русого знал уже старшина. Пришел он к нам в казарму после обеда, когда мы с Булкиным играли в шахматы, сидя на койке в дальнем углу.

Булкину в шахматы я очень скоро стал все время проигрывать. Одержав в Ирбизино подряд несколько побед,

здесь, в лагере, с началом полетов, когда мы, не занятые в предполетной подготовке, оставались за шахматной доской одни — он как бессменный дневальный, а я как дежурный, бывший каптерщик, дослуживающий последнее и оставшийся не у дел — я был вынужден прилагать большие усилия, чтобы хоть одну из проигранных партий у Булкина отыграть.

Когда Булкин выигрывал, он на меня не смотрел. Он молча переворачивал доску и начинал заново расставлять фигуры. Свои и мои.

— Три-ноль, — заключал я с деланной бодростью и потягивался. — Нет счастья в жизни.

Булкин соглашался охотно и без возражений. Но глаз от шахматной доски не поднимал.

За шахматами нас заставлял обычно старшина. Это его всегда выводило из себя и, не найдя дневального у тумбочки, он каждый раз выкрикивал себе команду сам:

— Смир-на? Воль-на! — И далее уже продолжал хорем: — Где дежурный? Где дневальный? Снять дневального к хренам!

Булкин всакивал с койки и, опустив голову, скрывая улыбку и застегивая на ходу воротничок, бежал к старшине. Замирал перед ним по стойке смирно и глядя в пол.

— Почему не у тумбочки? — спрашивал старшина.

— Виноват, — отвечал Булкин.

И, пока старшина вымещал свое возмущение на неуставных эмблемах и вставках в погонах, вставал из-за шахматной доски я. Бежать мне было уже, вроде, не к лицу. Я подходил к старшине и с поклоном отдавал честь.

Об армейской дисциплине любят поговорить многие. Особенно дома, отмечая возвращение солдата за праздничным столом. Больше всех о ней любят поговорить люди пожилые, с сединой. Подполковники. Да еще в отставке. Их слова обычно:

— Никто не спорит, что в армии тяжело. Но согласитесь, что дисциплины уже не стало.

— Да, это так... — соглашаемся мы, для которых служба уже окончена. — Вы правы. Дисциплины уже нет. — И мы

задумчиво улыбаемся, с нежностью вспоминая обязательно свои преддемобилизационные «стариковские» дни.

Старшина заканчивал с Булкиным, и я вставал перед ним «смирно».

– Дежурный ефрейтор, — докладывал с улыбкой я.

Старшина отводил глаза в сторону. На меня ему было неловко смотреть. Он становился ко мне боком, некоторое время глядел куда-нибудь в угол, шарил глазами по потолку и, наконец, со словами: «Там над дверью вроде паутина, заставь дневального смахнуть», — отворачивался и, больше уже не поднимая ни на меня, ни на Булкина глаз, уходил.

В тот день он задержался на минуту в дверях.

– Русый говорил мне о тебе, — сказал он. — Спросит, скажешь, я тебе наряд объявил. Ясно?

– Ясно, — ответил я, и старшина захлопнул за собой дверь.

Дело Булкина разбиралось в мае, пятнадцатого числа. Распоряжения обо мне к тому времени все еще не было, и я все еще продолжал быть ефрейтором и выполнял обязанности члена комсомольского бюро.

Бюро у нас летом, по существу, всегда состояло на три четверти из курсантов. С прибытием их в эскадрилью на полеты комсомольская организация увеличивалась втрое, а бюро расширялось до десяти-одиннадцати человек. Курсантам дело их бывшего сокурсника тоже было мало знакомо. Когда он сел на гауптвахту, они уже были в отпуске, а после выхода они с ним встретились только уже у нас, в Ирбизино, где Булкин о своих злключениях распространяться не любил.

Бюро состоялось утром, в одиннадцать, в беседке, под рев взлетающих и садящихся самолетов третьей АЭ. И, когда очередная машина появлялась над нами и, покачивая крыльями, хищно рыская острым носом, заходила на посадку, нам, оглушенным визгом двигателя, приходилось на некоторое время умолкать. С аэродрома тянуло керосином, а сопла двигателей поднимали по всей взлетной полосе пыль.

По разбору дела Булкина первым взял слово наш замполит.

За что мне нравились всегда в армии комсомольские собрания, так это за то, что на них не надо было обращаться по старшинству, да еще за то, что даже замполит, майор по званию, вынужден был спрашивать у председательствующего — курсанта или солдата — разрешения говорить.

Замполит сразу начал с основного.

— У нас в училище среди определенной оголтелой части курсантов существует одна дикая, убийственная традиция. Перед отпуском в конце семестра они начинают все, что попадет под руку, бить и ломать. Ломают койки, бьют стекла, унитазаы... Мотивируют это они, якобы, местью. Дескать, полгода старшины и офицеры над ними издеваются, пресекают всякую свободу, и вот наконец в отпуске эти бандиты свободу обретают и мстят... Булкин, кстати, так своему замполиту и говорил. Таких варваров — единицы, и после ряда исключений в этом году их меньше, чем в прошлом. Но все же и на этот раз обнаружили после экзаменов в день отъезда несколько дикарей. Начальник училища приказал разобраться с такими очень строго. Они позорят авиацию. Таких, понятно, нужно гнать. И обратно... — здесь замполит сделал многозначительную паузу, — ...если подаст рапорт о повторном поступлении, обратно ни в коем случае не принимать.

Так вот Булкин...

— Я не бил, — сказал Булкин, и замполит несколько секунд, глядя на него, молчал.

—...Булкин, — продолжил он, — уезжал домой одним из последних. По этому поводу он выпил со своими друзьями в тот день бутылку водки...

— Стакан, — сказал Булкин.

— Как потом Булкин сам признался: вышло по бутылке на брата. Напились они, зашли в казарму и стали плафоны бить. Взяли табуретки и начали в них кидать. Кто именно с ним был, Булкин так и не сказал, но разбиты были три плафона. Сломаны ножки у табуреток, и исцарапан потолок. Так как Булкин друзей не назвал, все это, естественно,

лежит на его совести. Было разбито еще и окно, но говорят, что это еще до него, что это не он.

– Я вообще ничего не бил, — сказал Булкин.

– Зачем ты врешь? — майор посмотрел на Булкина с жалостью.

– Не вру я, — ответил Булкин.

– Булкина нашли в туалете, — продолжал замполит, решив в препирательства не вступать. — В казарме никого не было, в туалете он тоже был один и курил. Писсуар был сломан. Рядом валялся изуродованный табурет.

– Не ломал я писсуара, — сказал Булкин.

– А кто ломал?

– Не знаю.

– Но ведь ты же заявил, что один был в казарме.

– Один.

– И никого не видел?

– Никого.

– Так кто тогда мог сломать?

– Я в казарму только пришел, не знаю.

Замполит помолчал.

– Знаешь ты все, — сказал он, — и врешь. Ведь майор Знаменский рассказывал, что ты после этого у него в кабинете говорил.

– Что он мог рассказать?

– Что ты там свободы требовал, революцию там делал, кричал, что вообще все в училище надо ломать и крушить.

– Это я говорил, — сказал Булкин.

– И то, что твоя бы воля, ты училище вообще бы взорвал — тоже говорил?

– И это я говорил.

– А плафоны не бил?

– Плафоны не бил.

– Ну, врешь ведь.

– Не вру.

– Не верю я тебе, — сказал замполит и заскучал.

С минуту в беседке все молчали. Потом я попросил слова. Все, что говорил замполит, было так не похоже на тихого Булкина. К тому же Булкину, который сказал «я не вру»,

который так много раз сказал «я не вру», я не мог не верить. В Булкине я был убежден.

Курсанты сидели на бюро, опустив головы и пряча глаза. Курсантам предстояло еще все лето с замполитом летать. Поэтому встал я. Мне терять было нечего. Через несколько дней я уезжал.

— Товарищ майор, — сказал я, — видел ли кто-нибудь Булкина, как он бил?

— В том-то и дело, что из начальства — никто, — ответил он.

— А из курсантов?

— Эти, похоже, вообще ничего не знают.

— Какие тогда доказательства?

— В казарме замполит застал именно его.

— Так ведь Булкин сказал, что только пришел...

— Знаешь, ефрейтор, из училища за просто так не выгоняют. Там им лучше знать.

— Это кому именно?

— Комсоставу, начальнику училища, если хочешь...

— А что, все они не люди, ошибиться они не могут?

— Ошибаться всем — исключено. И это даже не наше дело. Они уже все выяснили, обсудили, наша обязанность только взыскание по линии комсомола наложить. Только и всего.

— Но ведь доказательств нет, а с другой стороны — неясно: зачем было Булкину, если он действительно бил плафоны, дожидаться начальства в туалете, а не куда-нибудь уйти. И, кроме того, я лично не имею никакого права Булкину не верить. Видел его в казарме один замполит...

— Но замполит у них очень авторитетный человек...

— Ах, авторитетный! — сказал я, и меня на некоторое время даже в жар бросило. — Дело уже дошло до авторитетов... Булкин в число таковых не входит, он простой смертный... — И тут меня уже понесло: — Значит, нам теперь из-за одного авторитета Булкина с грязью смешать?! — сказал я. — Для примера? Чтобы другим неповадно было... Так? А на самого Булкина — плевать? Слово авторитета — приказ, и единственное, что мы можем — это выполнять, а самостоятельно мыслить мы не

в состоянии? Нам в этом отказано? — Я посмотрел на замполита, на курсантов, на солдат и понял, что настал момент, когда я могу, и даже должен, обобщать и говорить высокопарно... — Свобода!.. Мы всегда говорим: «Это сладкое слово — свобода!» Говорим, что нет в мире ничего прекраснее, истиннее, превыше свободы и свободного человеческого мышления. Считаем, что первым долгом для человека являлась всегда борьба за право отстаивать свои убеждения, свои мысли, свое мнение, полагая, что только свобода и свободное человеческое мышление достойны высокого звания человека. А что получается на деле?.. Ну, ладно, если, подчиняясь суровой необходимости, мы в армии жертвуем своей свободой и принимаем армейскую дисциплину с ее безоговорочным, беспрекословным выполнением приказа, делая это в силу неизбежности. И осознанно!.. Ладно, если мы на два года смиряем себя, поступаясь своей гордостью, своей личностью, своим интеллектом, становясь лишь послушными роботами, отказываясь от своей человеческой сущности. Мы делаем это ради идеи!.. Но ради чего, скажите мне, мы поступаемся своим званием человека в вещах, к армии и защите отечества отношения не имеющих? Ради чего терпим унижения, издевательства, беззаконие? Ради чего привыкли безгласно выполнять все указания и предписания начальства всюду и при любых обстоятельствах, куда бы нас жизнь ни забросила, — в частности, и вот здесь, на комсомольском бюро, где свобода, где демократия, где устав комсомольской организации. Или, может быть, за эти два года мы уже настолько научаемся не думать, настолько уже отвыкаем мыслить самостоятельно, делать что-либо сами, что этого полученного заряда нам хватит уже на всю жизнь?..

В общем, впечатление я тогда произвел. Ребята меня поддержали. Бюро, по сути дела, закончилось ничем. Постановили лишь для прояснения сути послать запрос в политотдел училища, а затем, если ничего определенно не сообщат, уже и настаивать на том, чтобы вопрос об исключении Булкина из училища пересмотреть.

Или уж, по крайней мере, повторное поступление Булкину разрешить.

С бюро мы с Булкиным возвращались вместе. Булкин всю дорогу молчал и меня не благодарил. Но мне это было и не нужно, благодарность бы здесь была даже неуместна, мне достаточно было уже одного того, что я чувствовал себя борцом. «Это мой заключительный аккорд!» — думал я про себя, вспоминая растерянное лицо замполита.

Третья эскадрилья свои полеты уже заканчивала. Большинство самолетов уже стояли зачехленными на стоянке, несколько находились в воздухе, и только последний медленно и неуклюже, распластав крылья, как придавленная муха, полз по земле, по рулежной дорожке — на старт. Мы шли, повернув головы в сторону аэродрома. Солнце стояло в зените и слепило глаза. Булкин дождался времени, когда самолет сорвался со старта, проследил, как он отделился от взлетной полосы, убрал шасси, проводил его глазами, пока тот не превратился в блестящую точку, и сказал:

— И зачем я только тогда их бил!

— Кого? — невпопад спросил я.

— Плафоны эти, — ответил он.

— Бил? — переспросил я.

— Ну да, — произнес Булкин и стал смотреть в сторону.

А я в свою очередь долго и растерянно смотрел на него...

Всю свою жизнь мы, прежде всего, ценим принципы прямоты, порядочности и честности. Мы их превозносим и свято им преклоняемся, и всегда теряемся, когда действительность грубо нарушает, ломает и коверкает их. Не знаешь, как быть, и доходит иногда до того, что даже начинаешь думать: а нужны ли они вообще, эти отвлеченные принципы чести? Кому от них какой смысл?..

Демобилизовался я через четыре дня. За это время я успел Булкина простить. Подумал и простил... решил, что не простить я не могу. И не потому, что считал: все мы не без греха — не это главное, и не потому, что сам бы мог поступить точно так же, нет, я был уверен, что поступил бы в

подобном случае как раз наоборот. Просто, я понимал: мне легко быть честным, мне нечем поступаться, моя прямо-та мне недорого стоит, гораздо дороже она стоила бы ему. Ведь когда единственным в жизни имеешь — летать... В конечном счете, бытие определяет сознание, и глупо требовать от человека абстрактно правильных поступков, оторванных от конкретных условий, не учитывая саму жизнь.

Главное — это понять человека. Понять — простить. И я понял Булкина и простил. Труднее оказалось другое: отнестись к Булкину по-прежнему. Сколько я ни старался, этого я уже не мог. Я с ним теперь постоянно чувствовал себя неловко и, глядя на него, все время вспоминал, насколько глупо я себя на бюро вел. И, хотя Булкин потом часто говорил, что был дурак, что был пьяный, что единственный раз не выдержал и сорвался, говорил, что сам лично разбил лишь один плафон, а что старшина у них действительно тварь, а училище на самом деле нужно было взорвать... И, хотя он говорил откровенно, говорил правду, говорил много, рискуя даже показаться болтливым, говорил, временами даже заглядывая мне в глаза — все это было уже не то. Неловкость не исчезала, и поэтому я всегда радовался, когда Булкин оставлял меня одного.

Случается, попадаешь в такие положения, что дорого бы дал, только бы поскорее вырваться из них. Но вырваться не можешь и изменить ничего не в состоянии — и так тягостно бывает осознавать свою обреченность на длительное и беспомощное в них существование.

И успокаиваешь себя единственной мыслью, что все в жизни все-таки всегда имеет свой конец.

Месяц май.

На основании приказа Министра обороны СССР № 71 от 13 апреля 19... года уволен в запас и направлен в...

В каждом вагоне, тамбуре, на каждом перроне, на каждом вокзале, улице — парни с лихорадочным блеском глаз. В кителях и фуражках, в гимнастерках. Суета, спешка, девушки, уставшие от беспрестанной болтовни и знакомств. Хлопоты комендантов вокзалов, усиленная

служба патрулей. Сколько взысканий, выговоров, нареканий, ругани, пьяных речей, битых бутылок — это едут домой тысячи, сотни тысяч демобилизованных солдат. Это армия. Это мы возвращаемся домой. В запас. Это событие. Это перелом. Это для нас звучит эпохально.

Это для нас бесплатный проезд в любой населенный пункт страны и прописка. Это для нас три месяца законного отдыха, для нас преимущественное право при поступлении в институт, для нас стипендии и льготы на курсах и в училищах; вакантные места на производстве — для нас. И улыбки, и цветы, и все встречные девушки — для нас, и поцелуи, и радостные слезы матерей...

.....
.....
.....

Что может быть еще притягательнее вечера, того момента, когда солнце уже село, а свет, теплый его свет, освещает верхушки деревьев и облака...

А до конца моей службы, авиационного механика второго класса рядового Дорофеева, оставалось еще две трети года...

* * *

Поздравьте меня, получил третью и последнюю в армии пару сапог...

Старик — категория переходящая. Еще недавно ты числился в молодых, а сегодня ты старик уже сам...

Сам себе я командир, сам начальник штаба...

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА ДНЕВНИК СОЛДАТА

Часть пятая (Тетрадь третья)

Сегодня был большой караул. Гауптвахта, стоянка и ТЭЧ. Я стоял на двухсменном посту. Ночью — ни души. Ходишь мимо ангара, ряда самолетов и думаешь...

Первые два часа я стоял с 16 до 18. В 17 часов было уже темно, и над горизонтом висела круглая луна. Через нее долго переползало какое-то перистое облако и, скорее, даже не облако, а какая-то туманность, которая сначала сгущалась, обрисовывая луну ореолом всех цветов от желтого до фиолетового, потом начала растворяться и исчезла совсем, и осталась только луна на темно-синем небе, в окружении звезд, яркая, круглая и голая. Потом где-то высоко, оставляя за собой белый инверсионный след и часто мигая красным огоньком, медленно пересек небо какой-то реактивный самолет. След долго висел тонкой ниткой на месте, потом расплылся и быстро понесся на луну. Закрыв ее, миновал, поплыл дальше, оставив на луне после себя опять какой-то клочок дымки. Этот клочок создал снова ореол и долго закрывал луну. И закрывал ее, когда меня пришли сменить.

Я отдал смене тулуп и побежал в караульное помещение, Попов уже пришел. Он сидел, ужинал. Я влетел радостный, потискал его, поцеловал в щеку. Он разворчался, разорался, разматерился и оттолкнул меня. Спать после ужина я не стал, а играл с Балинским в шахматы. В 20 часов я заступил снова. Я ходил по снегу в валенках и думал, в какой институт поступать. Вдруг в голову мне взбрело, что нужно получать профессию журналиста. Что это единственная свободная профессия. Я думал два часа и пришел к заключению, что буду поступать в Московский университет на журналистику с отделением переводчиков.

В следующую смену с 0 до 2 я думал, что не нужно забираться так далеко, ведь безвыездно пять или шесть лет. Ни охоты, ни тайги, ни своей природы, а куда я без нее...

И я решил, что нужно подавать документы у себя в «Пед» на «ИнЯз».

Луна теперь стояла высоко, почти в самом зените. Вокруг нее было широкое голубое кольцо. Небо чистое. Падали метеориты, оставляя мимолетные красные следы. Один метеорит ярко вспыхнул над землей и сгорел ярко-зеленым, изумрудным пламенем.

Становилось холодно. Я начал бегать, чтобы согреться, и плотнее закутался в тулуп. Появился слабый ветерок, он обветрил мне щеки и губы. Лицо горело. На луну медленно напозало огромное, как снежная лавина, белое облако. Стало темно, я перестал замечать блеск снежинок в сугробах.

Последнюю смену с 4 до 6 я ни о чем не думал. Я мерз. Ветер сменился, нагнал откуда-то туман... или это была просто дымка от мороза?.. Вся эта мгла неслась по небу, луна, казалось, пыталась сквозь нее прорваться, чудилось, что она летит к земле, бесконечно приближается и не может приблизиться.

Я чувствовал себя отвратительно. Не выспавшийся, я мерз особенно сильно. Мне уже не хотелось и в пединститут, была сплошная неопределенность, я был противен сам себе за то, что болтаюсь как д... в проруби, за то, что не могу ничего толкового ни сделать, ни решить, что огрубел в армии и что уже не человек. И так далее, в таком духе и подобным образом...

А к утру потеплело, и воздух стал сырой, а небо пасмурное...

Иногда мысли зависят просто от настроения, от состояния, а мы беремся рассуждать о мировоззрении, о взглядах человека, об устоявшемся...

* * *

У Степы умер отец. Ему сообщили об этом днем. Степа спал. Комэкс разбудил его и сказал это.

– Собирайся, иди в строевой отдел, оформляй документы, едешь в отпуск, — сказал он.

Степа начал собираться. Когда он вернулся в казарму, мы обступили его.

– Сколько суток дали?

– Десять.

– С дорогой?

– Да, четыре на дорогу, шесть дома.

– Деньги есть?

– Нет.

– Дать тебе?

– Нет, мне комэск обещал десятку. — Степа улыбнулся. — Спрашивает: «Деньги нужны?» А я — что? «Конечно», — говорю.

– Отец у тебя болел, что ли?

Степа сделался серьезным.

– Нет, ничего не писали, чтобы болел. Давно уже мать написала, что приболел, но вылечился. А так — ничего не писали. Совсем. Все нормально было...

У Степы заблестели глаза и, когда его спросили, кто остался с матерью, охотно поспешил перейти на другую тему:

– Я один уже. Ей шестьдесят один год. Теперь меня должны снять с армии.

А потом, когда он сходил в каптерку, принес чемодан и открыл тумбочку, чтобы взять вещи, то внезапно растерялся и долго стоял перед открытой дверкой, не зная, что взять, и бессмысленно перебирая тетради, щетки и тюбики с зубной пастой.

У Степы вечно улыбающееся лицо, и странно видеть его сейчас мрачным. Он продолжает иногда улыбаться, но чувствуется, что это уже по инерции, по привычке, что он рад бы улыбнуться, но теперь мало находится поводов для смеха. Он улыбается с готовностью на любое смешное слово, но быстро серьезнеет.

А через два часа Степа уже улыбался, улыбался, улыбался...

Когда мы хороним отца в двадцать лет, не слишком расстраиваемся. Другом отец становится позже, когда вы с ним уже на равных...

* * *

Людей сближает, делает друзьями пережитое вместе веселье, счастье и романтика. Пусть трудно, пусть тяжело, но, если вы оба оптимистически настроены, если можете придать этой тяжести романтическую окраску, вы долго будете помнить об этом времени, вспоминать добрым словом и, улыбаясь, вздыхать: «Да, были времена, давали мы жизни...» и чувствовать нежность к свидетелю былых времен, любить его и считать другом.

Начал дружить с Поповым. Васильев ревнует. Это твой разлюбленный Попов. Это он надел твои сапоги. Васильев — школьник, на него все покрикивают, Попов по службе младше Васильева, но я на него не кричу. Васька завидует и втайне злится.

Попов был, наверное, любимцем девчонок. Он высок, строен, интересен и без всяких комплексов. Во рту железный зуб, голову держит высоко, сплошное обаяние и щеки — кровь с молоком. И чувствуется, как его должны любить девчонки, и чувствуется, что сам он только этим и живет. Весь он — олицетворение обольщения, сладостных минут и этого рода удовольствия. И приятно на него смотреть, потому что он весь натурален, весь предназначен для этой своей роли и везде найдется, где бы ни был и куда бы его судьба ни забросила.

А Васильев — это мое увлечение. Он был чем-то очень похож на меня...

Сегодня старшина рассказывал, как его в Минске заставили ходить час строевой за то, что курил в неподобающем месте (на улице).

Командир полка на строевом смотре:

– Подбородок выше, смотрите на второй этаж, на балконе женщина... Вот. Молодцы. Молодцы...

Как только Буко с Копьевым уехали, новоиспеченные старики сразу посерьезнели. Стали медленнее и ленивее ходить, не торопясь, с чувством собственного достоинства

отвечать на вопросы. Меньше стали озорничать, больше кричать на молодых и отвоевывать себе в казарме лучшие места с удобным расположением коек и в столовой за столом.

Парни расправили плечи, ходят важно, смотрят высокомерно — старики...

Как увядший лист, сорванный ветром, сдуло пургой с дерева желтогрудую синицу, и она упруго, рывками, вспархиваниями полетела сквозь снегопад и белую мглу...

Вспоминая Паустовского

И, когда тот убийца на острове Березань перед расстрелом, перед тем, как расстрелять, встал перед Шмидтом на колени, Шмидт сказал:

– Да брось ты, Саша, не надо.

Может быть, он назвал его не Саша, — я уже не помню, но это неважно. Главное, он сказал:

– Да брось ты, Саша, вставай, кончай все это!

На улице оттепель. Влажно. Пахнет прибитым к земле печным дымом. Как весной.

Чтобы критиковать что-то, нужна злость. Когда ее теряешь, то забываешь былые обиды и забываешь, что это что-то ты обещал критиковать вечно...

Фейербах говорит, что счастье — это свобода, и свобода — это счастье.

Еще он писал, что, когда человек хочет пить, он думает только о воде, напившись, он становится свободен от жажды и может думать о чем-то постороннем — например, о еде. Так же и с едой: голодный человек думает о пище; утолив голод, он становится свободным от мыслей о хлебе, свободным для дел и мыслей более высокого порядка. Чтобы человек вел духовный образ жизни, он должен быть свободен от нее *материально*.

Уюта хочется тогда, когда он отсутствует, а, когда мы живем в нем, свыклись с ним, мы его не замечаем. Славы

хочется, когда ты абсолютно бесславен. Точно так же о свободе начинаешь думать там, где ее нет. Как в армии...

Вот в каком смысле я понимаю «сознание определяется бытием».

Возили в театр. После долгого перерыва приятно ощутить в партере запах духов, бархатную обивку кресел, совершенство, восхищение, красоту...

За солдатскую жизнь испытываешь гордость, только когда читаешь или слышишь что-нибудь о современных сегодняшних солдатских буднях. Радует то, что не забыли, вспомнили, что все-таки ты нужен, не совсем исчез из жизни. Начинаешь чувствовать признательность и еще что-то патриотическое, Родину...

Хочу видеть Смоктуновского в «Идиоте»... Апдайк, Сэлинджер, Феллини, Висконти, Антониони...

Приехал Степа. Улыбается.

– Спать ложись.

– Не хочу, опять будут кошмары мучить. Был дома. Приснилось — отец умер... проснулся, а он на самом деле умер. Перевернулся на другой бок — приснилось, что друг умер...

Он кинул, с кем-то забавляясь, сапог и попал мне в плечо. Было больно, и я обиделся. Боль прошла, но обида оставалась.

Он подошел ко мне с раскаянием на лице. По мне же, было бы лучше, если б он вообще не подходил. Я бы отвернулся, бросил бы ему что-нибудь оскорбительное и через это получил бы определенное удовлетворение. Или ничего бы не сказал, молча бы отвернулся и почувствовал бы себя жертвой.

Но он подошел.

– Друг, я нечаянно.

– Пошел к черту!

– Извини.

– Ладно, только отстань.

– Друг, ты обиделся?

Мне хотелось поскорее все кончить.

– Нет, не обиделся.

– Правда?

– Правда, правда... И все, иди...

Он ушел, и я почувствовал облегчение. Но злости уже не было.

Чтобы победить свою злость к человеку, иногда приходится прилагать огромные усилия. Но все равно это усилий стоит, потому что это — хорошо, потому что так должно быть, так — истина. Но трудно порой... Особенно если, например, в ответ на твой «добрый» порыв человек косится на тебя, и помнит старое, и не оценивает твою решимость на примирение.

«Ах, — сразу возникает мысль, — ты еще и недоволен!..»

Он оскорбился, хмыкнул в нос и, ни слова не говоря, отвернулся. И ушел с таким видом, который вызывает в тебе раздражение, типа: «Видали, какая фифа!» И хочется уже вместо извинения, напротив — догнав его, еще и дать ему по физиономии...

Нередко у солдат в местах их службы складываются очень серьезные отношения с девушками, с которыми они там знакомятся. Некоторые даже женятся, увозят жен с собой. Но, вот, стоит солдату не жениться до увольнения и, демобилизовавшись, уехать, скажем, за одобрением родителей или просто на время домой одному, почти всегда, как бы серьезны ни были отношения с девушками, назад, обратно, они не возвращаются. Будто, попав домой, они целиком выпадают из той, прежней, армейской жизни, как из другого измерения. И даже не могут себе представить, что назад могут какие-то пути быть.

И наоборот, с девушками-«заочницами», с которыми знакомятся по письмам, «дембели» очень часто связывают свою жизнь, когда после увольнения приезжают к ним...

Человек рационализируется. В его жизни все большее место начинает занимать сознание, творческая деятельность, интеллект. Чувства часто отвлекают в сторону, скажем, вот, любовь — это так затягивает, мешает делу. Но

ведь любовь — это во многом искусственность, которую создают сами люди запретами, завышенным мнением о ней. А, если оставить одну естественность и не запрещать (потому что запретный плод как раз всегда и сладок), тогда отпадет и сама собой проблема пола... Но все это предположительно... Раскрепощение от условностей с самого детства типа Золя: детская любовь в корзинах с перьями и чтобы не знать, что это плохо.

Но, если серьезно, то неизвестно, к чему придет человечество в межполовых отношениях с преобладанием рациональности в будущем. Видимо, все же там будут вместо инстинктивных и эмоциональных отношений между людьми преобладать отношения интеллектуальные...

Вот, кстати, большинство философов, пытавшихся заглянуть в мир будущего, никогда не могли спрогнозировать то, какой будет любовь в совершенном обществе. Они откровенно высказывались, что, в отличие от экономики, скажем, той же марксовской политэкономии, предрекающей человечеству победу коммунистических взаимоотношений, вычислить такие вещи труднее всего. Не предугадать, что люди со временем изберут, какие личностные взаимоотношения установят. Причем — установят сами. Те же, кто сейчас считает своим долгом бороться с аморальностью, те, кто убежденно заявляют, что вот те-то отношения плохие, а вот эти-то хорошие, эти надо приветствовать, а те отвергать, — такие люди, видимо, в отношениях людей в будущем не сомневаются, они уже все знают, что будет, до тонкостей...

Как школьница, заканчивающая школу, собирается на выпускной бал, так солдат собирается на «дембель». Всю зиму он готовит свой мундир. Ушивает брюки, делает хлорвиниловый, с атласной подкладкой подворотничок, полирует пуговицы, хромирует на поясном ремне бляху, запасается самим собой скроенными и изящно выполненными погонами, комплектом армейских значков: военно-спортивного комплекса, значком отличника боевой и политической подготовки, значком классности — под

которые делает разные пластмассовые подкладки, после чего значки становятся похожими на ордена. Делает из мыльниц и футляров зубных щеток разноцветный наборный ремешок для часов. Да... Еще чемодан. Покупает на скопленные деньги обязательно новый чемодан и обклеивает его изнутри вырезками из журналов с изображением красивых девушек и боевой техники.

Написал 336 писем девушке. Писал каждый день, ставя в правом верхнем углу номер письма. Сотни обозначал крестиком. В конце концов девушка прислала ему прощальное письмо и пожелала: «Будь счастлив!..»

А вчера на вечере в клубе мясокомбината была девочка Таня. Маленькая, пухлая, как матрешка, некрасивая. Она поминутно подсаживалась к солдатам, пыталась разговаривать с ними, пробиться сквозь их к себе равнодушие, относилась записки девушкам (игра в номерную почту), рада была оказать любую услугу: то достать карандаш, то бумагу, то сказать имя какой-нибудь девушки или отыскать адресат с таким-то номером. Сидела рядом, терлась голым локтем о хэбэ, вертелась, а потом вдруг говорила:

– А это Клавка Мезинцева, Дед Мороз... А тридцать третий номер — Людка Рябова... Записку отнести? Давай...

И бежала — вернее, катилась по полу — семеня своими коротенькими ножками. Возвращалась, довольная выполненным поручением, опять вертелась в кресле, заглядывала в лицо, но ты отворачивался, не замечал ее, лишь слабо кивал и натянуто улыбался на ее шутки и пересаживался на другое место или уходил к ребятам, не извинившись, не взглянув в ее сторону, будто ее и не существовало.

В будущем многое должно исчезнуть. Мы должны многое изжить: власть и властолюбие, стяжательство, карьеризм. Такие переходные явления, как вещизм, мещанство, увлечение уютom, в настоящем, правильном, желанном будущем останутся позади и, удовлетворив «жажду» этого рода, мы пойдем дальше, и мещанство отпадет само собой. Должны исчезнуть и болезненная сладость от унижения другого человека, потому что это порождение

неравноправия в жизни, чувство плебея, отсутствующее у независимых людей, — а в будущем все будут равны...

– Кто говорит?

– Старшина эскадрильи! — сверхсрочник-сержант звонил по телефону в столовую за старшину. Он понижал голос, хмурился и, когда я спросил его, кто идет в наряд, то он не удостоил меня даже взглядом. В старшину он перевоплотился полностью, и больше я спрашивать не стал.

Я не люблю будить. Яворский стоит дневальным в смене после меня. Я не люблю будить его ночью. Всегда становится неловко от того, что непроизвольно натыкаешься на его слабость.

– Серый, вставай, уже три часа. Молчание.

– Серый, твоя смена.

Яворский перевернулся на другой бок и произнес что-то бессвязное. Я растолкал его.

Он:

– Ну что?!

В такой момент всегда опасаясь, что он под горячую руку скажет тебе что-нибудь обидное, и тебе будет неловко, так как скажет он это не соображая, и ты не будешь знать, как ко всему этому относиться.

– Поднимайся. Три часа уже.

Яворский сдержал себя. Но из-под одеяла не вылез.

– Дверь закрой на палку.

– Но ты хоть оденься сначала, а то вдруг кто придет, а ты в кальсонах.

Молчание. Прикрыл глаза. Повернулся на койке. Замер.

– Серый! — Тебе уже надоело все...

Мелкобуржуазный утопизм в политических взглядах, в моем представлении — это не теория и не какое-то там направление, это просто отсутствие в теории черт, характерных пролетарскому мировоззрению; это не недостаток, это просто неспособность мелкого буржуа и близкого ему по духу интеллигента в общей борьбе против капитализма, империализма идентифицировать себя

с производственным рабочим, а если и способность, то кажущаяся, обманчивая. Это неверное сближение чаяний и желаний рабочих со своими желаниями, утопическая мысль, что рабочий способен понять и увлечься теми далекими, благородными, но фантастическими идеями, почерпнутыми интеллигентом и мелким буржуа из своих полупраздных (во всяком случае, для этого где-то найдены время и средства) мудрствований, из своего экзальтированного, романтического представления действительности, тогда как рабочему пока знакомы лишь нужда и ненависть к эксплуататорам, но не поиски смысла жизни, абстрактной идеи и т.д.

На уничтожение эксплуататоров они пойдут сами, но, чтобы пойти дальше, им нужно вырасти. Вырасти, чтобы появились мотивы и благоприятная почва для принятия идей, содержащих еще более совершенную картину мира. Так же как крестьянину, чтобы вырасти, нужно, видимо, стать рабочим, так и рабочему, чтобы вырасти, нужно стать интеллигентом.

Естественно, могут и рабочие иметь интеллигентские взгляды, но это в том случае, когда они уже не работают по 12 часов в сутки и не оболванены расхожими ценностями из арсенала плебейского потребительского бытия. Человека, знавшего лишь заботу о куске хлеба и видящего вокруг только рвачество и алчность, разве будут когда-нибудь занимать вопросы о смысле человеческой жизни, о роли сознания, о свободе, о смысле любви, о судьбах рода человеческого...

А, чтобы построить то совершенное, к какому мы стремимся, общество, все должны стать интеллигентами (конечно, в настоящем смысле слова), все должны приобрести это мировоззрение, вся масса.

Вчера Балинский, после просмотра по ТВ «Княжны Мери», пришел спросить меня: зачем Печорин стрелялся с Грушницким? Я говорю: «Защищал честь девушки».

– Но она же не была его женой...

– Ну и что? Честь женщины превозносили в то время. Как и вообще «честь». Это слово у дворян говорило о многом, и стрелялись даже просто из-за оскорбления, потому что запятнана была честь. И закон был такой: если не стреляешься, ты трус и негодяй. Превыше всего была честь.

– Превыше всего деньги! Они и стрелялись из-за денег в те времена.

Я удивился.

– А зачем стрелялся Пушкин? И был убит? Ведь не было речи ни о каких деньгах. Была ревность, и страдала честь жены и его самого. Из-за жены, из-за чести.

Он не понимал и тоже удивлялся. Честь была для него понятием не из его мира. Так он и ушел, не выяснив для себя сути.

Балинского у нас зовут «буржуй». Он практичен и хозяйственен до умопомрачения. Если кто другой стыдится того, что отказывает человеку в просьбе, то Балинский говорит об этом прямо. Не дам, мне нужен. Я сначала думал, что он как-то неверно, не по-русски, говорит из-за трудностей с языком (он украинец). Когда спросишь у него в столовой кусок от черного хлеба, лежащего на его кружке, который он положил сразу в начале обеда, взяв из общей миски в запас еще кусок, он не даст. «Мне нужен», — скажет он и, если до тебя не дойдет сразу, то на четвертый, пятый раз ты поймешь, что в этом «мне нужен» заключается вся его суть. Он абсолютно не находит ничего зазорного в том, чтобы не поделиться, в этом для него нет ничего постыдного. Для него не дать закурить, когда у него самого мало, — когда много, он даст, но когда мало... я понимаю, жалко, но ему не дать очень просто. Никаких угрызений совести.

Мне нужен.

Это его кредо, главное. Он не переубедим. Если начнешь его стыдить, убеждать в том, чтобы сдал сорок копеек на общий одеколон — когда мы решили сделать общий и сдали уже все — он один откажется от нашего нововведения, сказав, что пользуется одеколоном мало, зачем сдавать, когда он будет расходовать ерунду, а другой будет брать

много. В этом есть, конечно, логика. Неоспоримая. Но другому неловко не сдать, когда сдают все, неловко прослыть жмотом, запачкать свое достоинство. Но у него свои мерки. Он независим, себе на уме, практичен, рационален, не балаболка, как некоторые, имеет на все собственное мнение, не поддается чужому влиянию, упорен, очень правилен и очень неприятен.

Вчера вечером у меня было грустное настроение, а сегодня с утра — крайне впечатлительное. И я, к своему удивлению, рыдал, читая повесть Б. Васильева в старом журнале «Самый последний день» о добром отзывчивом человеке. Рыдал, утираясь полотенцем, сморкаясь и всхлипывая.

Не часто со мной так...

Идея социализма — я уже не говорю о коммунизме — хороша уже тем, что не создает почвы для развития мировоззрения: деньги и только деньги... Балинский — это, что там ни говори, рудимент. В будущем таких, видимо, не станет. Полное удовлетворение материальных потребностей — а когда-нибудь все-таки это будет — лишит основы подобный тип характера. Не это будет главным. Во главе угла будут стоять уже не материальные блага, а интеллект...

Да и сейчас... еще и без полного удовлетворения... Вот, кто согласится жить на сто рублей в месяц? Если он не дурак и с образованием? Балинский не согласится. А вот младшие научные сотрудники соглашаются. Почему? Им не надо, как другим? Или не могут найти работу получше? Почему они работают и день, и вечер после работы, и в выходные дни? Им не платят дополнительно, у них ставка. Потому что им интересно, они получают интеллектуальное удовлетворение, а это много значит в жизни; а, когда это становится вообще главным, материальное отходит на второй план. Не с усилием, не по принуждению, а вполне естественно — по сравнению с интеллектуальными радостями материальные перестают занимать.

Ординарный человек будущего: каков он? Вот, мы часто рассуждаем о человеке коммунистического общества,

рассуждаем, в каких светлых, сказочных зданиях он будет жить, из стекла, со сменными ячейками и т.д., какими машинами будет управлять, пользоваться... Но всегда затрудняемся сказать: а каков он будет вообще? А между тем такие люди живут уже сейчас. Живут среди нас. И начинается с того — кто согласится жить на сто рублей в месяц?..

Когда мы поняли, что вейсанизм-морганизм, который мы до этого отрицали и считали лженаукой, верен, вы думаете, мы рвали на себе волосы? Сгорали от позора, не знали, куда прятать глаза? Отнюдь. Мы лишь назвали морганизм генетикой и приняли его...

Как я всю эту армейскую дубоголовую дисциплину, приказы и диктатуру ненавижу! В чем бы это ни проявлялось — в армии, в производственной сфере, в государстве...

...Интересная вещь случается с тобой в момент, когда ты должен выступить за — назовем его так — правое дело. Вот, ты чувствуешь, что это тебе повредит, что все против тебя, но ты понимаешь дело правым, и вдруг что-то так сдвигается в сознании, что страх, опасения будущих неприятностей, перспектива ожидаемых бед — все исчезает полностью, и даже напротив — возможность всяких бедствий лишь подхлестывает тебя, в это время даже угроза жизни твоей воспринимается как экстаз, подъем, воодушевление, когда главное в этот момент для тебя — вопреки инстинкту самосохранения, торжество этого правого дела, торжество истины...

Дело за компьютерами в управлении. Коммунистическое отмирание государства как управленческого аппарата может произойти только через ЭВМ. И в психологическом смысле это гораздо здоровее, и в моральном гораздо нравственнее. Управлять нами должны машины. Машина беспристрастна, к ней не испытываешь зависти, она содержит в себе больше информации, чем человек, ей больше доверия, чувство вражды к ней отсутствует, ее решения не содержат корысти, она — мы понимаем — лишь координирует и устанавливает пропорциональную

взаимосвязь всех отраслей, а в каждой отрасли учитывает конкретно каждого занятого в ее работе индивидуума и, в конечном счете, значит, и лично тебя.

И что бы там ни было, и как бы это ни было смешно, к своему — как я уже точно теперь определяю его — политизированному, можно даже сказать — прокоммунистическому мировоззрению я пришел именно через армию. Как ни парадоксально, как ни удивительно, но именно благодаря ей. Именно здесь я понял во всей очевидности и страстно захотел свободного будущего с полной демократией и свободой личности в обществе. Именно здесь, где такových нет, я остро ощутил, что в гражданской жизни свобода все-таки существует, что она должна быть, что за нее надо бороться, что демократия — это не болтовня и не миф, а, пожалуй, самая главная непреходящая ценность.

Если бы все законы выполнялись правильно и как они записаны, это была бы просто фантастически чудесная жизнь!..

Вот ради какой цели прожить жизнь было бы даже не стыдно...

По крайней мере, у меня теперь есть программа для действия.⁶

* * *

Вся последняя зима у меня прошла под знаком борьбы со своим стариковством. Старики — это уникальный, совершенно своеобразный и очень непростой институт. Стариком становишься незаметно, исподволь, и в один прекрасный момент вдруг ловишь себя на том, что ведь ты уже начал совсем по-другому вести себя. Оказывается, трудно не стать стариком. Не выбиться в старики — это как раз легко, трудно не сделаться таковым.

Скажем, за обедом кому из десяти человек, сидящих за столом, сходить к раздаточной за добавочным — если

⁶ Надо ли говорить, что это были еще далекие годы, и герою-энтузиасту, чтобы сделать хоть что-то из замышляемого, предстояло еще долго нужного времени ждать.

весь съели — хлебом? Или за луком к окошку кухни кому идти? Кто с краю сидит? А если с краю — старик?

И приходится с собой бороться, контролировать себя, непрестанно следить, заставлять вести себя по-другому — скажем, чтобы не обделять «молодых», чтобы помогать им в их работе, как всегда делал, доставляя этим себе удовольствие и в соответствии со своими всегдашними представлениями о настоящих человеческих отношениях.

Но трудно. Трудно удержаться, не распусться, сославшись в свое оправдание на то, что так поступают все. Трудно не отказаться от данного себе когда-то (в свою бытность «молодым») обещания, когда придет время, не унижать очередных молодых, не требовать от них каких-то для себя услуг. Пусть даже это простительно и закон. Трудно не начать эксплуатировать молодых. Трудно не воспользоваться своими привилегиями, когда ты устал, когда ты злой, когда у тебя все из рук валится. А особенно трудно удержаться от подчас в пылу гнева так и просящегося на язык, столь оскорбительного для молодого слова «молодой!..».

Нет, не может быть, чтобы сознание всегда определялось бытием. Не все тут так просто. Ведь если посчитать так, то что же тогда представляем собой мы сами? В чем заключается наша личность? Ведь если так, то мы никогда ни в чем не вольны, безвольны. Нас нет. Мы продукты обстоятельств. Есть только одни обстоятельства и неподвластная нам, управляющая нами природа. А человек только потому и человек, что он может иногда быть выше своей природы. Вот с этим «стариковством»... Все время я держал себя настороже, все время старался поступать наперекор своим желаниям, и, чуть ослаблялся контроль с моей стороны, я моментально сбивался на стереотип. Один раз я особенно сильно сорвался. Я выпил с ребятами — бывает в армии иногда и такое — на Новый год водки. И после долгого перерыва она подействовала на меня самым невероятным образом. Я потерял полностью

память и способность рассуждать. Не мог я себя и держать в руках. То, что я творил, для меня так и осталось тайной, мне лишь потом рассказали кое-какие малости. Как я гонял в тот день кого-то из молодых за чаем в кухню, как с гонором и со снисхождением похвалялся перед молодыми, что я хорошо себя с ними веду, как на ужине пожилой, доброй, всегда нас, солдат, жалеющей и ко мне всегда хорошо относящейся женщине в хлеборезке кричал: «Старуха, гони масло!» — и это было уже так на меня не похоже, что я бы всему рассказанному не поверил — такое я даже в себе предположить не мог, — если бы на другой день не видел, как эта женщина и наши молодые отводят от меня глаза.

Трудно сказать, в какой области нашего сознания гнездится та «личность», какой мы себя представляем. Но то, что она порождена не одной лишь физиологией, подсознанием и обстоятельствами, это совершенно точно. Нельзя выводить человека лишь из совокупности внешних причин и черт характера. Без воли, без постоянного контроля над собой, без постоянного, часто даже утомляющего своей вездесущностью соотнесения себя с каким-то идеалом, без стремления к совершенству и непрестанного «деланья себя» человек — не человек...

Нет, невозможно все вывести из бытия. Ведь если так, то откуда тогда, например, Горький? Какие «университеты», какое бытие определяло его гуманное, интеллигентское, человеколюбивое мировоззрение? Иначе откуда тогда герои, подвижники, все те люди, на которых мы равняемся и которые оставляют о себе след в веках?

И, кстати, вот все эти герои-подвижники нашей революционной романтической эпохи, борцы за, так называемое, народное счастье, пока они еще не сделались диктаторами, все эти люди, сводившие сознание строго к бытию, свято считавшие, что сознание вторично и бытием определяется, все эти марксисты, *материалисты*, основывавшие на этом материалистическом положении о бытии все свои рассуждения о ходе истории и движущих силах и опирающиеся на него в своей революционной практике, сами были самыми

страшнейшими *идеалистами*, романтиками, они отказывали себе абсолютно во всем, шли на лишения, в тюрьмы, ссылки, на казнь, и это воспринималось тогда в обществе как подвиг!.. — сами-то всегда были выше бытия — и старались сделать эту новую жизнь не для себя, не для своей выгоды, не для собственного обогащения, и даже не для торжества своей воли, а для Идеи, и делали, что бы там ни было, отталкиваясь от материализма, эту новую жизнь для других, для униженных и обездоленных, для неимущих людей, в том числе и для тех, из которых потом, позже, вырастали, с позволения сказать, тоже материалисты, именовавшие себя материалистами до мозга костей, которые тоже яростно ненавидели идеализм, постоянно и жестоко боролись с его проявлениями — и которые начинали обогащаться, активно строить свою карьеру, боролись за славу, авторитет, отвоевывали себе место под солнцем, не стесняясь этого, считая это естественным и свойственным каждому человеку, и, дискредитируя высокое значение слов, тоже заявляли, что бытие определяет сознание и ничто человеческое им не чуждо.

И ни в каком розовом будущем, ни при каком коммунизме не отпадет надобность в существовании в жизни порядочных людей. И ни при каком общественном строе не обесценится красота истинного поступка. Никакой уровень жизни, никакая демократия не освободит людей от необходимости следить за самим собой и не допускать со своей стороны опрометчивости. И ни при какой формации не исчезнут такие вот некрасивые девушки-матрешки, и, жалость к ним не исчезнет, и страдания не исчезнут, потому что это дано раз и на все времена.

И никогда человек не станет хорошим, благородным и красивым только от изменения его условий жизни, автоматически. Всегда потребуются воля, собственные усилия и стремление к совершенству.

Воля и совершенство.

И что бы там ни было, армия или какая другая область и проявление действительности, но если ты извлек из

этого стремление к совершенству, то можно с уверенностью сказать, что время в твоей жизни прошло не зря.

И это значит настало время зрелости и твой период ученичества закончился. И когда ты теперь вновь вернешься к жизни, ты приступишь уже к ее осмысленному продолжению.

* * *

По крайней мере, ты уже будешь знать, что делать и куда идти...

* * *

Репетировали в ленкомнате. Стояли среди множества извивающихся проводов, среди усилителей и позади огромных блоков динамиков ватт на полтораста — у курсантов, что приехали к нам этой весной, оркестр был оснащен отлично.

Слушателей было немного. Они сидели на столах, табуретках перед динамиками, сбоку от них, около ударника и за спиной «соло» у окна. Когда я пришел, играли «Оксану». У курсанта с бас-гитарой были красивые длинные пальцы. Ребята говорили, что он кончал музыкальную школу по игре на гитаре, и поэтому следить за его игрой было интересно. Курсант сильно и ловко трепал пальцами две верхние струны, опершись большим пальцем о деку гитары, пальцы левой руки легко бегали по ладам. Рот был слегка приоткрыт, отсутствующий взгляд скользил по лицам слушающих.

Второй гитарист, соло, стоял ко мне спиной, и его рук я не видел. Ударник сидел на двух составленных одна на другую табуретках, стучал громко, четко и с завидной простотой.

Кончив «Оксану», гитаристы играли некоторое время, казалось, каждый свое, потом они вдруг неожиданно дошли до чего-то общего, сыграли вступление, начало и сказали ударнику: «Пой!»

Ударник заломался, но как-то мило, что даже заставил всех улыбнуться. К нему пододвинули микрофон с подставкой журавлем, заставили сказать в него «раз, два, три», установили на усилителе уровень.

– Пой, — повторили гитаристы и начали вступление. Но ударник положил палочки на барабан.

– Ну, чего ты?

– Сейчас, подожди, вспомню... — Он помолчал с минуту, кашлянул, рывкнул в порядке шутки в микрофон, пододвинул его ближе к себе и взял палочки в руки.

– Ну, давай...

Пел он, насколько я понял, на английском, что именно, я не уловил и четко расслышал лишь часто повторяющееся «бэби». Он пел и стучал, двигался всем телом, звенел тарелками, нажимал на педаль, голова же его находилась постоянно на одном уровне, вплотную к микрофону и взгляд был устремлен куда-то в одну точку перед собой. Кончив петь, он опять мило застеснялся, не улыбнулся на возглас «отлично!», а принял смешной равнодушный вид, вытер ладонью губы, глаз на ребят не поднял, а начал сильно тереть бровь, потом лоб, потом накрутил цепочку от тарелки вокруг штыря и, наконец, отвел глаза да улицу за окно.

Гитаристы тем временем сыгрались еще на какой-то мелодии и опять сказали свое «пой!».

– Запас слов кончился, — улыбнулся ударник.

– Ну, давай что-нибудь.

– Сейчас... подумаю...

Он глядел в окно, шевелил губами и молчал.

– Скоро?

– Подожди... Надо же, чтоб складно было... — Он помолчал еще минуту.

– Ну, давай попробуем.

Пел он, опять так же смотря перед собой, половина слов у него были английские, пара слов польских, остальные я совсем не понял. Но в общем получалось довольно прилично, ударник не сбивался, пел ровно и, хотя текст «песни» перевести было невозможно, это никого не смущало, а, когда он тянул длинное «си-и», выдыхая «и» прямо в

микрофон, или когда в нос кричал «гет ту ю», сама интонация голоса производила большое впечатление.

– Все, — сказал он, когда кончил. — Теперь ты. — Он повернул микрофон к курсанту с бас-гитарой.

Теперь смущаться настала очередь этого. Он сразу опустил глаза и, когда пел «О, эти глаза напротив», уже не переводил взгляд с одного на другого, а пел уставившись в пол.

Улыбнулся он, когда уже кончил...

(Из последних армейских записей молодого человека поколения невоенных годов, в дальнейшем выпускника историко-филологического факультета Уральского университета, молодого специалиста Владимира Дорофеева, демобилизованного из вооруженных сил в самые бунтарские годы советского времени и, как большинство его сверстников, не находившего себе долгое время, по меньшей мере, несколько десятков лет, в жизни никакого применения. Впрочем, подобные не находят себе применения всегда.

Составлено из фрагментов, написанных тогда же, в те же бунтарские, печатается «по-коммунистически» безвозмездно).

Содержание:

Юность (в качестве предисловия)	3
<i>Часть первая.</i> Дневник молодого человека невоенных годов	8
<i>Часть вторая.</i> Дневник солдата. В мирное время	23
<i>Часть третья.</i> Дневник солдата. В мирное время (продолжение)	63
<i>Часть четвертая.</i> Действующая часть (продолжение)	85
<i>Часть пятая.</i> Последняя зима (заключение)	174

Снежина А.
«Страна, которую мы потеряли»

редактор М. Н. Ромм
компьютерная верстка/ корректор И. Георгиева
обложка М. А. Глухарева

Контактные координаты издательства
тел. в Москве:
+7-906-704-68-73
В Израиле: +7-972-52-203-70-88

Свидетельство о государственной регистрации
ОГРН 309774627800931
Издатель Э.Б. Ракитская
Формат 60 x 84/16
12 уч. изд. л.
Тираж 1 000 экз.
Москва
2013

ISBN 978590569379-3



НАШИ АДРЕСА В ИНТЕРНЕТЕ:
Сайт издательства: www.era-izdat.ru
Как издать книгу: www.era.gufo.ru
Книжный магазин: www.knizh.gufo.ru
Почта: era-izdat@mail.ru